



Рене Гузи

В ПОЛЯРНЫХ ЛЬДАХ

Дневник Ивонны Шарпантье.

14 апреля, 8 час. вечера.

Мы только что вернулись на шхуну, проводив Бострема, который хочет сделать попытку добраться вместе с семьёю товарищами до Земли Франца Иосифа или до Шпицбергена. Расставание было очень трогательным, и в этот торжественный момент были позабыты всякая неприязнь и соперничество. Не только у меня были слезы на глазах, но даже сам Торнквист, несмотря на всё, что произошло, следил растроганным взглядом за исчезающей в дали маленькой кучкой людей.

Перед тем, как двинуться в путь, по направлению к югу, через предательское и подвижное ледяное поле, все они крепко пожали мне руку и сердечно благодарили меня. Бедняга Янсен (мой главный пациент, так же, как и Торнквист) был особенно взволнован и когда прощался со мной, то все его лицо искривилось, точно он хотел заплакать. Я сделала последнюю попытку отговорить его покинуть нас, но все было напрасно. Боюсь, что он не выдержит и недели. Сани, которые им придется тащить, сделаны из имевшегося под рукой материала; они слишком тяжелы и неповоротливы, и возможно, что его спутникам придется бросить его на произвол судьбы. Он сознает это, но все-таки решил уйти... „Иначе я с ума сойду“, говорит он. А, ведь, Бострем человек решительный и прямо объявил, что берет с собой только сильных и здоровых людей. У кого же не хватит силы продолжать путь, то... и, не закончив своей фразы, он сделал выразительный жест рукой.

— Грубый человек, этот штурман, — говорил мне не раз Торнквист. — Остерегайтесь его... держитесь от него подальше!

Грубый человек! Возможно. Но, во всяком случае, энергичный. И к чему все эти предупреждения, эта забота обо мне? Очевидно, это только ревность. Дело в том, что, начиная с последней зимовки, отношение Торнквиста ко мне совершенно изменилось. Мы уже больше не те хорошие товарищи, как это было

раньше. За последнее время в его глазах я не редко читала какое-то колебание, быть может, даже скрытое признание, всегда, впрочем, быстро подавляемое. Бострем также заметил это и советовал мне остерегаться Торнквиста, которого он считает бессовестным эгоистом и гордецом. Какая, однако, все это комедия в нашем положении! К сожалению, эта комедия грозит превратиться в драму. Чем-то все кончится.

15 апреля.

Снежная буря. Невозможно выйти на палубу. Что-то поделывают теперь Бострем со своими спутниками среди ледяного поля?

Сегодня утром капитан собрал всех нас, оставшихся на корабле — вместе со мной тринадцать человек — и стал говорить нам про создавшееся положение. Если лед будет продвигаться по направлению к западу, как это наблюдается вот уже в течение нескольких дней, мы будем двигаться приблизительно по тому же пути, как и «Фрам»¹ в 1895-1896 году, и через год или через полтора доберемся до открытого моря. Если же, наоборот, ледяное поле будет увлекать нас к северу, придется подумать о том, чтобы, в свою очередь, покинуть «Эльвиру».

Покинуть корабль — предприятие, конечно, совершенно неосуществимое. Впрочем, Торнквист знает это лучше, чем кто-либо, и прекрасно отдает себе отчет, что все то, что он говорит, лишь одни пустые слова. Все наиболее сильные и здоровые люди уже отправились вместе с Бострем. У нас же остались только полуинвалиды или, в лучшем случае, ослабевшие люди. Да и сам командир, по-видимому, не набрался еще сил после своей долгой и упорно не поддававшейся лечению болезни. Сегодня, по возвращении на корабль, после проводов ушедших, с ним снова сделался продолжительный обморок. Цынга, которою он страдал этой зимой, сильно потрясла его организм, да и сердце у него не совсем в порядке. К счастью, настроение у него еще сносное. Вечером, едва очнувшись от обморока, он стал дразнить меня и спрашивать, очень ли я жалею нашего милейшего штурмана, который мне так нравился.

Что это — шутки, или он, действительно, ревнует меня? Во всяком случае, надо сознаться, что Бострем во-время покинул нас. Дай ему бог избежать той судьбы, которая нас ожидает.

17 апреля.

В течение двух дней я находилась в самом подавленном настроении духа из-за сцены ревности, которую мне устроил Торнквист, окончательно открывший свои карты. О, как я ненавижу этого человека! Отчего я не ушла с Бострем, о

¹ Судно Нансена.

чем он так умолял меня? Теперь, впрочем, поздно об этом жалеть. Но есть вещи, которые я никогда не перенесу.

Третьего дня я находилась у себя в каюте и думала о тех, которые покинули нас накануне, как вдруг вошел Торнквист; лицо у него было искажено от злобы, он задыхался и держал в руке какую-то бумажку, которую, не говоря ни слова, ткнул мне чуть не в лицо.

— Знаете вы это, комедиантка? — закричал он.

Мужчина в гневе, и особенно такой, как Торнквист, кажется мне положительно смешным, и поэтому его слова не произвели на меня никакого впечатления.

— Говорите же... — продолжал ревнивец, судорожно комкая записку, найденную им в каюте Бострема.

Я сначала ничего не отвечала, но затем меня охватило глубокое возмущение, и я должна была употребить громадное усилие, чтобы не ударить Торнквиста, который, посмеиваясь, глядел на меня. Повелительным жестом я указала ему на дверь:

— Немедленно же выйдите вон, подлый человек. Хотя Бострема здесь и нет, но я сама сумею защитить себя!

Зачем я произнесла это имя? Зачем впутала Бострема во всю эту историю? Ведь, выходило, будто этим самым я признавалась в любви к нему!

Не удивительно, что это еще более разозлило Торнквиста. И, не думая уходить, он стал приближаться ко мне с поднятой рукой, как бы намереваясь меня ударить. У меня под рукой был браунинг, но мне всегда были противны театральные сцены, и даже в этот момент я отбросила мелькнувшую в моей голове мысль. Быстро проскользнув за не ожидавшим этого маневра Торнквистом, я выскочила из каюты, захлопнула за собой дверь и закрыла ее снаружи на ключ. Затем, вся дрожа от волнения, выбежала на палубу, где мое внезапное появление испугало бедного Ольсена, который спросил меня: „Что вы, больны, что ли, Фрекен Ивонна? Что такое случилось?“

Я не в силах была отвечать ему и опустилась на связку канатов.

— Ничего, я просто немного испугалась... — ответила я, наконец.

Не знаю, что делал командир в моей каюте в течение тех двух часов, что я держала его запертым, но когда я вернулась туда, то увидела, что в оставленном открытом ящике стола все перевернуто вверх дном; тот же ящик, который был заперт на ключ, остался нетронутым. Как бы то ни было, но несчастный ревнивец должен был чувствовать, что попал в очень смешное положение, чего больше всего опасаются такие гордецы, как он.

Когда, придя немного в себя, я потихоньку пошла выпустить его, он, видимо, уже успокоился и вышел, не произнеся ни слова, после чего заперся в своей каюте. С тех пор я его не видела, но волнения и усилия, которые мне пришлось

сделать над собой, до того меня истощили, что целый вчерашний день я пролежала на моей койке, совершенно разбитая.

К счастью, никто ничего не заметил, так как в это время все люди были на льду. А ты, мой бедный Бострем, где ты теперь? Зачем, зачем я не пошла с тобой?

18 апреля.

Сегодня утром буря, наконец, утихла. В течение трех дней снег падал, не переставая, и все время дул сильный западный ветер; когда начинало темнеть, можно было подумать, что опять наступила зима. «Эльвира» вся засыпана снегом, так что трудно даже различить борта.

Иоргенс, Ганзен и Ларсен отправились сегодня утром на лыжах, чтобы узнать, что случилось с Бострем и его спутниками, которые, вероятно, должны быть где-нибудь недалеко. Возможно даже, что они укрылись в своей палатке, чтобы переждать бурю. Это было бы плохим началом их путешествия. Недаром Торнквист говорил, что его нисколько не удивило бы, если бы эти „дезертиры“, как он, совершенно, впрочем, несправедливо их называет, вернулись бы назад. Что касается меня, то я ни минуты не сомневаюсь, что, если не все, то, по крайней мере, Бострем, ни за что не вернется, хотя бы ему пришлось идти одному и он был бы уверен, что погибнет в пути. Надеюсь, что Иоргенс и его товарищи найдут их и принесут нам известие о них. Они понесли им жестянку со сгущенным молоком, оставшуюся „лишней“ после произведенного раздела, которую Торнквист не хотел оставить для нас. Это, конечно, очень благородно послать драгоценную жестянку человеку, которого он считает своим соперником и смертельным врагом. Этот поступок заставляет меня простить Торнквисту многие его недостатки.

19 апреля.

Ничего нового. Наши разведчики еще не возвратились. Впрочем, особенно беспокоиться о них не следует, так как они, очевидно, нагнали Бострема и его товарищей и провели вместе с ними ночь... если только не присоединились к ним окончательно, что вполне возможно. Они захватили с собой провиант только на два дня и взяли лишь одно ружье и десять патронов, единственно на тот случай, если встретят по пути какую-нибудь дичь. Не следует пренебрегать ни одной возможностью увеличить запас пищи, так как, если нам не удастся выбраться в открытое море, что более, чем вероятно, то придется еще одну зиму провести во льдах.

Под вечер Гейнрихсен, друг и приятель Иоргенса, слез с наблюдательного пункта на мачте и крикнул:

— Вот они. Но их только двое...

Далеко, на горизонте, по направлению к югу, можно было различить две черных точки, которые, как будто, направлялись к кораблю. Впрочем, скоро они исчезли. Вероятно, это были медведи или моржи, но, очевидно, не люди, ибо в этом случае они давно уже добрались бы до «Эльвиры».

20 апреля.

Трое отсутствующих вернулись к середине дня. Их увидели вдали, около одиннадцати часов. К двенадцати они уже были на корабле. Но, к нашему величайшему удивлению, среди них не было Ганзена. Его заменял Янсен, который был страшно доволен, что очутился снова на «Эльвире». Он, к счастью, последовал моему совету и воспользовался случаем, чтобы вернуться на старое пепелище, что же касается Ганзена, веселого малого, то он окончательно покинул нас, заняв место „блудного сына“, как окрестил Торнквист Янсена. По правде сказать, мы много потеряли от этой замены, в особенности, командир, лишившийся лучшего своего партнера в глупейшей игре ВОКРУГ СВЕТА, которой, однако, он и Ганзен страшно увлекались. Кроме того, Ганзен был отличным портным и, что самое важное, всегда находился в веселом настроении духа, в то время, как Янсен... Как бы то ни было, но для них обоих это вышло к лучшему. Что же касается вопроса питания, то он не изменился, ибо нас попрежнему остается 13 человек... Скверное это число тринадцать... К счастью, что я не суеверна.

21 апреля.

Сегодня Йоргенс подробно рассказал нам про встречу с отрядом Бострема, который остановился лагерем едва в 10 километрах к югу от корабля. Несмотря на это, наши люди с трудом нашли их и то лишь благодаря случайности: они уже собирались возвращаться, как вдруг заметили воткнутые в снег лыжи и таким образом определили местонахождение палатки. Она была почти засыпана снегом и казалась покинутой. На их призыв никто не отвечал. Тогда они проникли внутрь и увидели, что все спят крепким сном, забившись в спальные мешки. Встречены они были с некоторым недоверием.

Бострем, вероятно, думал, что Йоргенс был послан командиром, чтобы отговорить его людей идти дальше. Но когда гарпунер уверил его, что ничего подобного не было и передал ему драгоценную банку с молоком, все сомнения Бострема рассеялись. Он был очень тронут великодушием командира и просил передать ему его сердечную благодарность.

Так как погода опять испортилась, то наши люди провели два дня и две ночи вместе со своими товарищами, после чего, утром 20-го, помогли им освободить из-под снега палатку, сани и каяки. Все люди отряда Бострема ничуть не

утратили надежды выбраться изо льдов, и неудачное начало путешествия не смутило их.

Вчера утром, когда наши покинули Бострема и его людей, последние снимались с лагеря. Но их уход задержался из-за необходимости исправить двое саней, в которых уже к этому моменту оказались какие-то неисправности. А, ведь, они отошли только на два перехода! Поэтому Иоргенс, человек опытный в этих делах, относится с большим сомнением к счастливому исходу предприятия.

— Как бы там ни было, но я предпочитаю оставаться на «Эльвире». Вы увидите, что они далеко не уйдут! — говорит он.

Гарпунер передал мне записку от Бострема. К счастью, он сделал это, когда Торнквиста не было.

— А у меня есть кое-что для вас, фрекен Ивонна, — сказал он, хитро улыбаясь. И, так как я самым глупым образом покраснела, он, забавляясь моим смущением, стал рыться в своих карманах и, наконец, найдя записку, передал ее мне. Только бы он держал язык за зубами!

22 апреля.

Мною овладела какая-то тоска и упадок духа. Целый день в мыслях я следила за теми, которые идут теперь по ледяному полю. Что с ними будет? Удастся ли им добраться до твердой земли? То, что вчера рассказал о санях Иоргенс, наполнило мое сердце беспокойством.

23 апреля.

Сегодня днем у меня был крайне неприятный разговор с Торнквистом. Когда я без всякой задней мысли рассказала ему о моем беспокойстве, он прервал меня:

— Опять вы об этом Бостреме! Отчего, в таком случае, вы не отправились вместе с ним? Если он погибнет, то сам будет виноват. Он знал, какое это рискованное предприятие — пускаться в путь с такими перевозочными средствами.

— Тогда ваш долг был удержать его. Отчего вы его отпустили? — с жаром возразила я.

Он ничего не ответил и ушел, бормоча себе пол нос „женская глупость“, или что-то в этом роде. Но с тех пор вид у него мрачный, и он не говорит мне ни слова. Несчастный лунатик!

24 апреля.

Ничего нового.

25 апреля.

Также ничего.

26 апреля.

Попрежнему ничего нового. Жизнь на корабле своим унылым однообразием может довести до отчаяния. Когда же, наконец, прекратился этот ветер, своими дикими завываниями доводящий нервы до последней степени напряженности? При таких условиях ушедшие, вероятно, немного продвинулись вперед, а, ведь запасы провизии у них так ограничены!

В припадке отчаяния я, вот уже три дня, как забросила дневник, который, однако, стал моим единственным другом с тех пор, как ушел Бострем. Но сегодня утром я немного подбодрилась. Погода сегодня ясная, хотя через каждые два или три часа начинает идти мокрый снег. В первый раз в этом году я увидела птицу. Она долго кружилась около корабля и, наконец, села на рею. Я поскорей принесла ей немного крошек и затем спряталась. Птица слетела на палубу, съела крошки, почистила свои перья, затем, взлетев, покружилась немного над кораблем и улетела по направлению к югу. Ах, отчего я не птица! Отчего, как и она, не могу полететь к югу!

1 мая.

Сегодня утром Шранк решительно отказался выйти на работу. Когда машинист Кульмгрен, с которым он занят осмотром машин, спросил его о причине отказа, он дерзко ответил:

— Сегодня праздник и работать не полагается.

После чего удалился, посвистывая, с засунутыми в карман руками.

Машинист сначала ничего не понял и подумал, что Шранк, кстати сказать, имеющий очень плохое влияние на экипаж, просто пошутил. Надо, впрочем, заметить, что этот бедняга Кульмгрен совершенно не пользуется авторитетом среди матросов. Его апатия ко всему или, вернее сказать, лень служат поводом для постоянных насмешек. По уходе Шранка он с философским равнодушием один стал продолжать работу и лишь в полдень доложил Торнквисту о «шутке» кочегара. Торнквист, разумеется, отнесся к этому иначе и намылил голову Шранку, который за это время уже успел начать агитацию среди матросов, без особого, впрочем, успеха. Как бы то ни было, но это довольно знаменательный факт, и Торнквист решил на будущее время наблюдать за этим бунтовщиком, всегда готовым что-нибудь натворить.

2 мая.

Сегодня вечером произошло событие, повергшее всех в невероятное волнение. Испортился граммофон или, вернее говоря, совсем остановился. Все

в отчаянии. Кульмгрен завтра исследует больного, скорейшего выздоровления которого все страстно желают. Что стали бы мы делать без него, особенно зимой?

3 мая.

Чудная погода. Мы воспользовались этим, чтобы проветрить наши постели, что давно уже пора было сделать. Что же касается белья и одежды, то об этом лучше не думать... Белье почти у всех матросов кишит насекомыми, и Андерсен самым серьезным образом заявляет, что не решается вывесить свою рубашку на воздух, так боится, что насекомые унесут ее и он ее больше не найдет...

4 мая.

После целого дня работы Кульмгрену, наконец, удалось кое-как исправить граммофон, благодаря чему машинист опять вошел в милость к Торнквисту, который был очень недоволен им, после инцидента с Шранком. Решено было, что на будущее время лишь один Кульмгрен будет иметь право заводить драгоценный инструмент. Сильно, однако, сомневаюсь, чтобы это правило всегда соблюдалось.

Установилась хорошая погода и значительно потеплело. Вечером в кают-компании было 7 градусов. Настоящая раскаленная печь.

5 мая.

Сегодня прилетели целые стаи чаек и несколько крупных морских птиц — буревестников или альбатросов. Они опустились на лед невдалеке от корабля, и воздух наполнился их резкими криками. В 1913 году первого крылатого вестника мы увидели 8 апреля. Как-то будет в 1915 году, и когда увидим мы первую птицу?.. Если только вообще нам суждено ее увидеть.

6 мая.

Я чувствую себя совершенно подавленной и разбитой и нравственно и физически. Ничего не могу есть. На душе тоска. Как я радовалась возможности начать снова мои прогулки на лыжах, когда появится солнце, а между тем, с самого ухода Бострема, т.-е. вот уже 23 дня, не покидала корабля. Ночью я ворочаюсь на койке и не нахожу сна, а когда, наконец, удастся заснуть, то это не подкрепляющий сон, а целая вереница кошмаров и каких-то видений, после чего я просыпаюсь, совершенно разбитая. По вечерам голова у меня тяжелая, в теле дрожь... нет, положительно придется серьезно полечиться. Вчера ночью, к рассвету, у меня была настоящая галлюцинация: в дверях каюты я увидела Бострема; вид у него был совершенно расстроенный, а в глазах светилась бесконечная грусть. Я вскочила с койки и бросилась к нему, но он тотчас же

исчез. Не случилось ли с ним чего-нибудь? Боже, мой. Боже, мой! Где-то они теперь?

7 мая.

Пишу эти несколько слов, лежа на койке, куда Торнквист, видя мое расстроенное лицо, насильно уложил меня. Он по несколько раз заходил ко мне, приносил чай и откупорил даже одну из драгоценных банок с молоком, которых у нас осталось только двенадцать штук. Я упрекнула его за это и настояла, чтобы молоко дали также и, Янсену, сильно ослабевшему после своего неудачного путешествия, и самому Торнквисту, еще не вполне оправившемуся после цынги, который, однако, питается тем же, чем и матросы.

— Вы — славная девушка, — сказал мне Торнквист со слезами на глазах, видимо, искренне огорченный моей болезнью. Станный он человек! В нем много сердечной доброты, но он страшно скрытный. Сегодня, например, он прекрасно понял, что я думаю о Бостреме, но, ничего не спросив меня, поспешно вышел из каюты. Как я ценю эту деликатность, особенно после сцен, которые он мне устраивал! В сущности, я чувствую, что уважаю его.

8 мая.

Я решила встать и выйти на минуту на палубу. Погода великолепная. Лед ослепительно сверкает, а в многочисленных полыньях, образовавшихся на ледяном поле, весело играет солнце, Кругом множество птиц. Они стали совсем ручными, и грациозные чайки садятся на палубу, чтобы поклевать крошки, которые им разбрасывают, при чем чувствуют себя в полной безопасности. Их строго запрещено стрелять. Мясо этих птиц негодно для еды, и к тому же нам нужно беречь порох и свинец.

К северу горизонт затянут туманной дымкой. К югу же небо такое, как бывает над водой. Там должны быть большие, свободные от льда, пространства. Окажутся ли каяки более прочными, чем сани? Иначе Бострему и его спутникам придется делать бесчисленные зигзаги... Яркое солнце совсем не грело, и я почувствовала дрожь. Скорей вернуться в каюту выпить горячего чая.

9 мая.

Лежала весь день. В 6 часов вечера было 39,5° и сильнейшая головная боль. В глазах огненные круги: я вся горю и с трудом пишу эти несколько строк. Не надо было так долго оставаться на палубе. Завтра я хочу...

Что я хотела сделать? Прошло две недели, и я ничего не помню! Сегодня я чувствую себя еще очень слабой и, когда пошла взять мой дневник, запертый в шкатулке, то все закружилось вокруг меня и, не будь стола, за который я

уцепилась, я не добралась бы до койки. Оказывается, я десять дней была в бреду и только прошлый понедельник пришла в сознание. Торнквист с озабоченным лицом и ввалившимися глазами склонился надо мною. Мне показалось, что я очнулась после скверного сна, и спросила его, не был ли он болен. Понемногу я стала отдавать себе отчет в том, что произошло. Повидимому, я были недалеко от смерти. Взглянув в зеркало, я прямо испугалась: передо мной было настоящее привидение.

28 мая.

Усилие, которое мне пришлось сделать, чтобы начать снова мой дневник, вызвало опять сильное повышение температуры. Когда Торнквист пришел с лекарством, то нашел меня без памяти. К счастью, я успела инстинктивно спрятать дневник под подушку, и Торнквист не увидел его. Что он подумал бы обо мне, если бы прочел его?

29 мая.

Вчера целый день я дремала, а ночью, в первый раз после долгого промежутка, крепко заснула.

Сон подействовал на меня благотворно; сегодня я чувствую себя гораздо лучше и с удовольствием выпила чашку молока. Торнквист почти весь день сидел у моей койки, а около четырех часов меня пришли навестить матросы. Это доставило мне большую радость, тем более, что каждый принес маленький подарок. Гейнрихсен сшил тонким шнурком две медвежьи шкуры, превосходно выдубленные (понять не могу, как он это сделал), чтобы покрываться вместо одеяла. Янсен из старых жестянок от консервов смастерил замечательно искусно маленький поднос. Славные они все люди.



1 июня.

Сегодня я пробыла несколько часов на палубе. Небо было ясно, и солнце сияло. Вокруг корабля образовалось много каналов, так что я не узнала

ледяного поля. Если бы у нас был уголь, мне кажется, мы могли бы пробраться к югу. Но об этом нечего и думать. Мы в полной власти льдов. Продвинутся ли они к югу и достигнем ли мы свободного моря, и если да, то когда?

2 июня.

С тех пор, как я поправилась, Торнквист почти не обращает на меня внимания. Впрочем, вид у него очень плохой. Он целыми днями лежит в полудремоте на диване в кают-компании или на своей койке.

3 июня.

Кульмгрен сегодня утром открыл мне глаза.

— Очень уж переутомился наш бедный командир, — сказал мне машинист, пришедший на минутку поговорить со мной. Придется, видно, теперь вам за ним ухаживать. Ведь, во время вашей болезни, он почти не покидал вашей каюты. Если вы выжили, так, пожалуй, в этом вы ему одному обязаны...

А я еще упрекала Торнквиста, что он недостаточно заботится о моем здоровье! Теперь я поняла, отчего у него такой истощенный вид, отчего он целыми днями лежит на койке. Он переутомился, ухаживая за мною, а потом, не желая навязываться на благодарность, скромно стушевался.

4 июня.

Сегодня у Торнквиста был сильный жар, а к вечеру он даже бредил. В бреду он несколько раз повторял мое имя, с такой нежностью, что я невольно была растрогана. Он бессознательно взял мою руку и стал сжимать ее до боли. Но взгляд его блуждал где-то вдалеке. Я осталась у него до двенадцати часов ночи. К этому времени жар немного спал, бред прекратился, и Торнквист спросил меня, давно ли я здесь нахожусь. Бывший тут же Кульмгрен ответил за меня:

— Фрекен Ивонна здесь с пяти часов вечера. Прикажите ей итти теперь спать, а то она заболит. А я побуду с вами.

Торнквист с загоревшимися глазами повернулся ко мне и, схватив мою руку, поцеловал ее говоря: „Спасибо, Ивонна, спасибо“.

Совершенно сконфуженная, с бьющимся сердцем, я тотчас же выбежала из каюты, охваченная каким-то непонятным волнением. Что это? Неужели во мне просыпается чувство любви к Торнквисту? Нет, лучше на сегодня закончить дневник!

5 июня.

Кульмгрен рассказал мне, что Торнквист после моего ухода крепко заснул. Когда он в четыре часа пришел навестить его, больной спал совершенно спокойно. Сегодня ему гораздо лучше, хотя он еще очень слаб.

Когда я вошла в каюту Торнквиста, его похудевшее лицо озарилось радостью: „Наконец-то вы пришли!" воскликнул он. Превозмогая мое волнение, я старалась держать себя исключительно, как врач. Но боюсь, что мои глаза говорили другое. Он не вспоминал о вчерашнем, но опять долгим поцелуем прильнул к моей руке. Я сделала вид, что рассердилась... Но, боюсь, что именно только сделала вид...

Вот уже скоро две недели, что Гейнрихсен с таинственным видом занимается чем-то в „мастерской", как мы называем кормовую часть трюма, где Бострем со своими спутниками изготовляли перевозочные средства. Слышно, как он целый день стучит там, стругает и пилит. Прошлую субботу он попросил у Штрейка дать ему кусок запасного паруса, после чего работал все время, не переставая.

Сегодня он с торжественным видом появился на палубе с каяком, который собственноручно смастерил. Этот каяк показался мне более легким и, вместе с тем, гораздо более прочным, чем те, которые соорудил Бострем со своими людьми. Для постройки этой лодки Гейнрихсен тайком взял несколько буковых досок, в качестве подпорок воспользовался днищами от бочонков, причем все было прочно скреплено деревянными колышками и шпагатом без единого гвоздя, чтобы не порвалось облегающее весь каяк полотно. Гейнрихсен очень гордился своей работой и торжественно пригласил нас всех на „официальное испытание", которое должно было состояться сегодня, после обеда, в большой полынье по соседству с кораблем.

В назначенный час все, разумеется, отправились на указанное место. Виновник торжества с каяком на плече¹, с веслом в руке, немного взволнованный, подошел к полынье. По правде сказать, лодка была очень примитивная, и Гейнрихсен, влезая в нее через довольно узкое отверстие, наверное, перекувырнулся бы в ледяную воду, не будь собравшихся на испытание, которые удержали каяк в равновесии.

— Все дело только в привычке, — довольно впрочем резонно заметил строитель, действовавший с большой самоуверенностью.

На воде утлое суденышко держалось очень хорошо. Гейнрихсен, гордый своим успехом, проплыл несколько раз взад и вперед при всеобщем одобрении зрителей. Каяк под ударами весла двигался весьма быстро, едва покачиваясь из стороны в сторону.

Торжествующий Гейнрихсен подплыл к берегу, или, вернее, к кромке льда, — но от Капитолия до Тарпейской скалы только один шаг². В тот момент, как он высвобождал свое тело из узкого люка, каяк внезапно опрокинулся, и наш

¹ Лодки эти очень легкие; при длине в 3 метра они весят не более 3 килограммов.

² Тарпейская скала — крутой обрыв Капитолийского холма в Риме, с которого сбрасывали государственных преступников. Соответственно, выражение «от Капитолия до Тарпейской скалы только один шаг» соответствует известному наполеоновскому «От великого до смешного — один шаг!» — прим. OCR.

мореплаватель погрузился головой в воду. К счастью, находившиеся на льду люди весьма предусмотрительно захватили с собой багры и веревки и с помощью их немедленно же вытащили из воды насквозь промокшего Гейнрихсена, который дрожал от холода и имел жалкий вид, что, впрочем, не помешало ему, как только он очутился на льду, повторить свои слова:

„Все дело в привычке, нужно только научиться влезать в эту лодку и вылезать из нее“.

Вечером Торнквист, довольный, что наконец-то один из его подчиненных проявил собственную инициативу, велел раздать матросам черносливу, в честь строителя судна, которого товарищи поздравляли с успехом.

7 июня.

Плохая погода, туман и западный ветер с мокрым снегом в течение всего дня. Лето в этом году положительно запаздывает, что крайне беспокоит Торнквиста из-за охоты, которой невозможно заняться при такой погоде. До сих пор удалось убить лишь десяток тюленей и двух медведей. Что касается моржей, то к ним невозможно подобраться, по крайней мере, на льду. На-днях еще Андерсен заметил троих, гревшихся на солнце, но как только они почуяли опасность, то моментально исчезли под водой. Моржи вообще всегда держатся около воды, в которой проводят большую часть времени. Кажется, к ним легче подобраться на каяке, и поэтому Гейнрихсен, охваченный рвением новичка, собирается попытаться счастья, как только научится управлять своим снаряжением. Надо надеяться, что он не предпримет этого слишком рано, так как моржи, как рассказывают, очень опасны, особенно в воде.

8 июня.

Набегающие порывы ветра, снег и мелкая крупа. Как будто опять вернулась зима. Полыньи затянуло гонким слоем льда; кроме чаек, исчезли все птицы.

9 июня.

То же самое.

10 июня.

Вчера Иоргенс, несмотря на погоду, отправившись по направлению к югу, обнаружил большое стадо тюленей, которые позволили ему подойти довольно близко. К несчастью, гарпунер забыл взять ружье и таким образом упустил случай пополнить наши запасы провизии. Беспечность этих людей прямо невероятная.

Сегодня, получив от Торнквиста порядочную головомойку, он отправился вместе со Шрейком и Ларсеном на то место, где видел вчера тюленей. Небо

было ясное, воздух довольно теплый, и потому я пошла вместе с ними. После трех часов утомительной ходьбы по рыхлому льду, мы прошли к тому месту, где Иоргенс оставил вчера жестянку от консервов, чтобы можно было ориентироваться. Жестянка оказалась на месте, но тюленей и след простыл. Было ужасно досадно. От яркого солнца у нас болели глаза, несмотря на очки с желтыми стеклами, которые, вероятно, придется так или иначе зачернить. Но судьба вознаградила нас. Когда на обратном пути мы были в двух или трех верстах от «Эльвиры», мы заметили около десятка шевелившихся черных точек. Это были тюлени, вероятно, даже те самые, которых вчера видел Иоргенс. У тюленей, насколько я заметила, очень плохое зрение, и так как мы находились с подветренной стороны, то нам удалось подойти к ним на близкое расстояние. На наше счастье они были довольно далеко от воды, что с ними весьма редко случается. Когда мы были уже в шагах тридцати от тюленей, они, наконец, почуяли нас и неловкими скачками стали добираться до ближайшей полыньи. Но в этот момент Иоргенс и его товарищи открыли огонь. Два тюленя остались на месте, в то время, как остальные спешили к воде, рассчитывая найти там спасение. Но охотникам удалось убить еще пятерых. Шестой волочился с трудом, обремененный своим детенышем, но и он был настигнут и убит Штреком в тот момент, когда уже собирался броситься в воду, столкнув предварительно туда детеныша. Трем или четверем удалось спастись, и они исчезли под льдом.

Восемь тюленей в один день! Это был положительно рекорд, и наши люди торжествовали. Когда убитых животных притащили на судно, матросы получили горячий чай с добавочным сахаром, который они, действительно, заслужили. Торнквист весь сиял от радости.

— Еще две или три таких охоты, как сегодня, — сказал он, — и мы можем быть спокойны, что не умрем с голоду в следующую зиму.

Несмотря на всеобщую радость у меня все время был перед глазами тот несчастный тюлень, который считал себя уже спасшимся и все-таки погиб от руки Штрейка. У этих зверей взгляд, совсем как у человека. И этот взгляд, кроткий, но полный упрека, который бедный тюлень бросил на замахнувшегося на него прикладом человека, весь вечер преследовал меня.

11 июня.

Отвратительный день. С раннего утра матросы, под просвещенным руководством повара Ольсена, разбирают тюленьи туши и вываривают жир. Приторный запах сырого мяса и крови, вонь от жира вызывает во мне тошноту. Эта вонь преследует меня всюду. Весь корабль заполнен каким-то желтоватым, густым туманом. Куда ни ступишь — всюду нога скользит по жиру или

спекшейся крови. Нет никакого средства, чтобы избавиться от всей этой гадости.

12 июня.

Сегодня матросы отдыхали. Вчерашняя работа их, действительно, страшно утомила. Впрочем, она им нравится, и некоторые, как, например, Иоргенс и Шранк, как будто даже с наслаждением копаются во внутренностях тюленя. У всех одежда пропитана жиром, и отвратительная вонь распространяется по всему кораблю.

13 июня.

Я не могу назвать себя суеверной, но для «Эльвиры» пятница, 13-го, всегда была несчастным днем. Сегодня утром утонул самым глупым образом матрос Сильверберг, славный малый, любимец всего экипажа. Теперь нас осталось только двенадцать человек.

Как могло это случиться? Об этом, конечно, мы никогда не узнаем. Сегодня, около одиннадцати часов утра, Иоргенс, который вместе с Эльвенбергом отправился на охоту за тюленями, внезапно возвратился с расстроенным лицом и сообщил, что Гейнрихсен утонул. И, действительно, речь могла идти только о нем, так как оба матроса увидели его каяк, качавшийся на волнах, среди большого пространства свободной воды, которое находилось приблизительно в расстоянии километра к северу от корабля. Перевернутое вверх дном утлое суденышко находилось совсем близко от берега, или, вернее, от кромки льда, и рядом с ним плавало небольшое весло, похожее на те, какие употребляют на своих пирогах негры. Матроса же нигде не было видно.

Иоргенс и Эльвенберг, догадываясь, что случилось несчастье, обошли полынью, но, не найдя никаких следов человека, возвратились поскорей на «Эльвиру». Но, когда они вошли на палубу, то первый человек, которого они встретили, был именно Гейнрихсен, что, конечно, чрезвычайно удивило их.

Увидя их расстроенные лица, гарпунер спросил, что случилось, и они рассказали ему о своей находке.

Тогда уже Гейнрихсен сначала удивился, а потом рассердился. Он подумал, что оба матроса смеются над ним, так как его каяк находился, как обыкновенно, в „мастерской“. Внезапно ему в голову пришла одна мысль, и он бросился в трюм, откуда тотчас же вернулся с испуганным лицом. Каяка там не было.

Было очевидно, что кто-нибудь из матросов, желая испробовать каяк, взял его оттуда, спустил на воду и утонул. Но кто это мог быть?

Извещенный об этом случае Торнквист приказал сейчас же собраться на палубе всем людям. Не хватало троих: боцмана Штрейка и матросов Ларсена и Сильверберга.

Сразу же все подумали о Сильверберге, так как за последнее время он очень интересовался опытами Гейнрихсена и был большим любителем спорта. Однако, никто не видел, чтобы он покинул корабль, хотя возможно, что занятые разборкой тюленей матросы не заметили, как он ушел. Приходилось ждать возвращения Штрейка и Ларсена.

Они вернулись около часу дня, и тогда уже не могло быть никаких сомнений, что утонул Сильверберг. Как это произошло? Быть может, на него напал морж. Это было вполне возможно, так как в „море Гейнрихсена" как окрестили матросы эту большую полыню, гарпунер видел нескольких моржей, которые иногда бывают очень опасными.

Предположение это, однако, мало правдоподобно, так как, если бы на бедного Сильверберга напали моржи, то и каяк был бы или уничтожен или сильно попорчен. Но, судя по словам Иоргенса, он остался в полной неприкосновенности. Гораздо вероятнее предположить, что неопытный Сильверберг, желая выбраться на лед, вылезая из отверстия для гребца, опрокинулся и попал в ледяную воду, где и погиб от разрыва сердца. Так, по крайней мере, думает Гейнрихсен. По его мнению, самое трудное — это влезть в каяк и вылезти из него. А уж раз попал туда, то даже самый неопытный моряк сумеет справиться.

Вечером Торнквист в присутствии всего экипажа прочитал молитвы по усопшем. Флаг был приспущен. За ужином все были молчаливы, и никто не дотронулся до еды.

14 июня.

Сегодня утром Торнквист вместе с Гейнрихсеном и Иоргенсом отправились на место происшествия. Каяка на прежнем месте не оказалось: его отнесло куда-то ветром. После продолжавшихся более двух часов поисков, его, наконец, нашли наполовину выброшенным на лед. Хотя Гейнрихсен проклял свое изобретение и объявил, что никогда больше не будет им пользоваться, каяк все-таки притащили на корабль. Кроме небольших царапин на бортах, он оказался совершенно целым. Очевидно, что Сильверберг не погиб в борьбе с моржами.

Между прочим, они снова заметили трех моржей на льду, около края полыни. Один из них был громадных размеров, длиною, вероятно, не менее семи метров. Моржи, однако, скрылись под водой прежде, чем люди подошли на расстояние ружейного выстрела.

Каждый день несколько человек отправляются к полынье смотреть, не появится ли тело Сильверберга. Все ходят грустными, так как наш „Фриц“ пользовался всеобщей любовью. Даже у грубоватого и циничного Шранка были слезы на глазах, когда командир вечером опять читал молитвы по усопшем.

Мы с Торнквистом и Кульмгренем сделали опись имуществу, оставшемуся после покойного. Вещей было очень мало. Среди них нашли пачку писем и фотографическую карточку с изображением какой-то пожилой женщины, вероятно, его матери. К счастью, Сильверберг был холостой, и после него ни осталось ни вдовы, ни сирот.

15 июня.

Тело Сильверберга не появлялось. Но Гейнрихсен думает, что оно все-таки должно выплыть.

Ему показалось, что он видел на довольно далеком расстоянии от корабля трех медведей.

16 июня.

Ничего нового. Довольно хорошая погода.

17 июня.

Сегодня утром, в одиннадцать часов, работавший недалеко от корабля Андерсен прибежал, запыхавшись, с ружьем.

— Три медведя. Идите скорей, — закричал он.

Я в этот момент как раз находилась на палубе, где смазывала лыжи. Услышав о медведях, я тотчас же соскочила на лед. Через несколько мгновений ко мне присоединился Андерсен, вооруженный шестизарядной магазинкой, а вслед за ним прибежали Гейнрихсен и Анисимов. Последний был совсем скрючен от ревматизма, и я хотела сейчас же отослать его обратно, но он довольно грубо мне ответил:

— Раз женщина идет, и я тоже могу итти.

Все три зверя, два старых и один молодой, — по-видимому, целая семья, — находились не более, как в 100 метрах от корабля.

Вероятно, это были те самые, которых Гейнрихсен видел на днях. До сих пор, чтобы встретить медведей, нам приходилось всегда итти довольно далеко, так как, вопреки рассказам охотников, это очень трусливые звери. Как только они нас замечали, они немедленно же убегали или старались нырнуть, если по близости была полынья. С апреля нам удалось убить только двух, что было весьма мало для пополнения нашего запаса провизии. Таким образом, нужно было дорожить всяким представлявшимся случаем.

Затаив дыхание, мы пробирались вперед, скрываясь за глыбами льда, и, наконец, очутились метрах в тридцати от медведей, которые нас не заметили. На наше счастье, ветер был нам в лицо и сыпала мелкая крупа, так что кругом было очень плохо видно.

Вдруг один из медведей, подняв морду, испустил короткое и глухое ворчание, после чего тронулся с места, сопровождаемый двумя остальными. Почти одновременно раздались два выстрела. Один из медведей, сделав громадный прыжок, упал на лед и остался лежать неподвижно, в то время, как остальные два продолжали удаляться. Один из них волочил ногу, оставляя на льду кровавый след. По временам он останавливался, чтобы лизнуть свою рану, или быть может, желая посмотреть — не следует ли за ними и третий медведь.

Андерсен, передав мне ружье, пошел назад на корабль, чтобы позвать людей помочь снять шкуру с убитого медведя, мы же, втроем, продолжали преследовать двух беглецов.

К счастью, они двигались довольно медленно. Раненый, видимо, ослабевал и подвигался с трудом. Наконец, мы приблизились метров на десять к раненому медведю, и Янсен уже собирался прикончить его, как вдруг медведь внезапно обернулся и в три прыжка наскочил на нас.

Как всегда бывает при таких ужасных и мгновенных драмах, в памяти участников их остается лишь смутный и неясный образ, нечто вроде фильма, разрозненные перипетии которого мелькают перед глазами с головокружительной быстротой. Выделяются иногда некоторые, самые ничтожные, подробности, в то время, как нет возможности восстановить связную картину всего происшедшего.

Так, например, я хотя и находилась в двух шагах от несчастного Янсена, но положительно не могла бы в состоянии рассказать, что произошло в эти несколько коротких мгновений.

Я вдруг увидела, как какая-то громадная масса, с красной пастью и сверкающими глазами, с глухим шумом упала в расстоянии метра от меня. Слышала один за другим два или три выстрела (как оказалось потом, Янсен успел разрядить три патрона из четырех оставшихся в магазине), затем я почувствовала, как меня окутало целое облако снежной пыли в то время, как во все стороны летели осколки льда. Мне казалось, что в продолжение целой вечности я слышу раздирающие душу крики вместе с диким ревом... Янсен лежал на льду под медведем, который разрывал его... Из его ноги кровь била ключом. И я хорошо также помню, что мой мозг, как молния, пронизала мысль: если затронута бедренная артерия, он погиб! Потом я увидела, как несчастный пытался схватить ружье, валявшееся в двух шагах от него. Мне интересно было видеть, удастся ли ему это... но мысль о необходимости притти ему на помощь



совершенно не приходила мне в голову. Янсен сделал несколько резких движений ногами, тело его судорожно передернулось два или три раза, после чего он остался лежать неподвижно. Медведь, обнюхав его, удалился в перевалку, не оборачиваясь и не обращая на нас ни малейшего внимания, т.-е., вернее говоря, на меня, ибо Гейнрихсен, как только увидел, что медведь бросился на нас, пустился бежать со всех ног. Разумеется, это был далеко не геройский поступок, но его ружье было разряжено и с собой не было больше патронов.

Но, ведь, я-то никуда не убежала, в моих руках было ружье, которым я умела при случае пользоваться, так

как еще в мае убила одного медведя, и, однако же, я ничего не предпринимала и, совершенно уничтоженная, глядела на все совершавшееся, подобно зрителю, который смотрит в кинематографе охоту на медведя! И только, когда медведь был уже на порядочном расстоянии, я пришла в себя.

Рассуждая таким образом, не хочу ли я просто оправдать мое поведение? Я долго думала об этом и по чистой совести скажу, что не могу ни в чем упрекнуть себя... Мое „я“ положительно куда-то исчезло. Я находилась, как во сне, который, к сожалению, оказался действительностью.

На корабле никто не намекнул мне о моем поведении, и только Торнквист спросил, не могла ли я помочь Янсену. Я ответила, что невозможно было стрелять, не рискуя попасть также и в человека, и что случай этот был исключительный. Впрочем, это так и есть на самом деле. Но, если бы я все-таки выстрелила, кто знает, как бы все повернулось...

В течение последних трех дней я забросила мой дневник. У меня сделался сильнейший жар, и Торнквист, который все время ухаживал за мной, уверяет, что я даже бредила. С расширенными от ужаса глазами, с вытянутыми вперед руками, я будто бы кричала:

— Стреляй! Стреляй же скорей, а то будет поздно!

Очевидно, это была реакция после пережитого, простой физиологический феномен. Но воспоминание об этой драме преследует меня, и еще прошлой

ночью я видела у моего изголовья Янсена, глядевшего на меня стеклянными глазами с выражением немого упрека. Я проснулась с громким криком.

Гарпунер Иоргенс, здоровенный детина с копной рыжих волос на голове, снял с тела Янсена всю одежду, хотя и порваную когтями медведя. И сегодня я чуть не упала в обморок, увидев в полутемном проходе человека, одетого в кожаное пальто, которым так гордился бедный Янсен.

Иоргенс ушел, посмеиваясь. Он, очевидно, не понял моего страха. Вообще, вместе с Шранком, он представляет самый ненадежный элемент на корабле, и Торнквист сильно подозревает его в обнаруженной на днях краже сухарей.

Психология этого типа лучше всего обнаружилась, когда он узнал о гибели Янсена. „Ну, что ж, — воскликнул он, — по крайней мере, нам останется лишняя порция...”

21 июня.

Сегодня, после полудня, тело Янсена достали из углубления между двумя большими глыбами льда, куда оно временно было положено. К ногам привязали тяжелый груз; командир прочел молитву, после чего завернутое в парус тело спустили в воду, куда оно с плеском погрузилось.

22 июня.

Ничего нового. Испытываю какое-то беспокойство и тоску.

23 июня.

Погода хорошая. Каталась на лыжах, но далеко обошла полынью, куда опустили бедного Янсена.

24 июня.

Ничего нового. Большие стаи птиц летят с юга.

25 июня.

Вот уже пять дней, как стоит великолепная погода, — ни снега, ни тумана. К вечеру, по направлению к югу, вид открывается на громадное расстояние. Небо там такое, какое бывает над водой. Вероятно, в ста или в ста пятидесяти километрах от корабля находится открытое море или, по крайней мере, большие пространства, свободные ото льда... Эта мысль волнует всех и поговаривают даже, что следовало бы послать нескольких человек на разведку.

26 июня.

Торнквист, к которому я обратилась с вопросом — нельзя ли добраться до свободной воды, дал неутешительный ответ:

— Каким образом довести до этого места «Эльвиру»? Нельзя сказать, чтобы это было совершенно невозможно, если предположить, что между нами и открытым морем расположены многочисленные большие полыньи. Тогда наш путь был бы до известной степени обозначен. Но даже, если бы это и было так, каким способом заставить двигаться корабль? Угля у нас больше нет. В крайнем случае, если бы была надежда на успех, можно было бы пожертвовать всеми переборками, частью палубы и топить деревом. Но хватит ли нам этого топлива, чтобы выбраться из зоны, где мы можем двигаться только под парами? Мне это кажется весьма сомнительным. Во всяком случае, прежде, чем разрушать все внутреннее устройство шкуны, следует обследовать местность. Иначе, что бы мы стали делать зимой.

И, помолчав немного, он добавил:

— Как бы там ни было, но придется сделать попытку. Через несколько дней я сам отправлюсь на разведку, и мы увидим тогда, существует ли путь, по которому мы могли бы пробиться к югу.

27 июня.

Погода опять испортилась. Дует северо-восточный ветер. „Море Гейнрихсена" снова затянуто льдом. Все это вызвало всеобщее уныние.

28 июня.

Температура немного повысилась, но небо уже серое и горизонт затянут дымкой. Боже, мой, боже, мой! Чего бы я ни дала, чтобы увидет хоть кусочек твердой земли! Вот уже более двадцати месяцев, как мы ничего другого не видим, кроме льда и воды.

29 июня.

Небо продолжает оставаться серым, но температура сравнительно высокая — от 8 до 10 градусов. Кульмгрен приписывает это преобладанию западных ветров, крайне для нас неблагоприятных, ибо они задерживают продвижение льдов к западу.

Моржи, которых уже не раз видели, продолжают оставаться недалеко от нас. Но, как только к ним приближаются, они тотчас же исчезают под водой.

1 июля.

Вчера на меня напало такое уныние, что я не могла взяться за дневник, к тому же нечего было и записывать: то же серое небо и густой туман.

Гейнрихсен нарушил свою клятву и вот уже несколько дней, как продолжает упражнения с каяком. У него даже есть теперь ученик — Шранк. Он также строит каяк, который заранее окрестил „Чайкой". Гейнрихсен же дал своему

каюку довольно неожиданное имя „Газели“. Кто знает, может быть, этот спорт нам когда-нибудь и пригодится.

2 июля.

Погода улучшилась, но довольно сильный восточный ветер понизил температуру. К югу небо опять чисто. На каком же расстоянии находится открытое море — наша единственная надежда на спасение? Торнквист говорил о 100-150 километрах, но Гейнрихсен опытный моряк, хорошо знающий полярные страны, считает, что оно расположено гораздо дальше.

Об этом все время идут горячие споры. Зашел снова разговор об экспедиции к югу. Торнквист велел Иоргенсу исправить наши единственные сани. Через несколько дней, если погода будет благоприятствовать, он думает отправиться на разведку.

3 июля.

Сегодня утром Штрейк столкнулся нос с носом с медведем, скрывавшимся за громадной ледяной глыбой. К счастью, у него было с собой ружье. Впрочем, медведь самым спокойным образом повернулся к нему спиной и стал удаляться с легким ворчанием. Штрейк убил его одним выстрелом. Сегодня днем медведя разбирают на части. К сожалению, он оказался очень худым, но зато шкура была великолепная.

Мы все торжествуем. Гейнрихсену, Шранку и Штрейку удалось убить двух моржей из числа тех трех, которых прозвали „привидениями“, так как они были неуловимы.

Впрочем, сегодняшняя охота, хотя и весьма успешная, едва не окончилась трагически. Чуть не погиб Шранк. Но этот угрюмый парень обладает удивительным хладнокровием, которое и спасло ему жизнь. На этот раз охота происходила и на льду и на воде и оттого-то и вышла удачной. Убиты самка и детеныш. Самка была около 6 метров длины и весила, вероятно, не менее 2000 килограммов. У ней было два клыка по 70 сантиметров каждый. Что же касается детеныша, то он был величиной с быка, и понадобилось семь пуль, чтобы его прикончить. Когда разбирали туши, самец, чудовище более семи метров длины, несколько раз высовывал морду из воды, но не посмел вылезти на лед, на что надеялись охотники.

Как все произошло? Судя по словам Штрейка, который находился на льду и следил за эволюциями обоих „каякменов“, он увидел на некотором расстоянии от них голову моржа, тотчас же, впрочем, исчезнувшую. Он крикнул им, чтобы они были настороже и плыли к берегу. Но в этот момент морж вынырнул из воды в двух шагах от Гейнрихсена. Последний прицелился, выстрелил и попал зверю в голову, который скрылся под водой в водовороте из кровавой пены.

Почти сейчас же вслед за этим появился второй морж и бросился на каяк Шранка, собиравшегося уже высадиться на лед. Сделав настоящий акробатический прыжок, Шранк выскочил из каяка на лед, в то время, как морж с яростью набросился на легкую лодку. Но тут начал стрелять Штрейк, затем выстрелил и Шранк, после чего зверь сделал громадный скачок и упал мертвый на край ледяного поля. К этому времени успел высадиться и Гейнрихсен, и они втроем с величайшим трудом втащили убитого моржа на лед. Между тем, вскоре выплыл и раненый морж и также был убит.

Надо сознаться, что день вышел очень удачным, но каяк Шранка почти совершенно уничтожен.

5 июля.

Завтра или послезавтра, если позволит погода, Торнквист вместе с добровольно вызвавшимися итти с ним Иоргенсом и Шранком собираются отправиться на поиски того мифического открытого моря, о присутствии которого мы догадываемся по цвету неба. Мы только и говорим об этом, и даже флегматический Штрейк волнуется по этому поводу.

6 июля.

Погода неопределенная. Все утро люди под руководством Торнквиста пробуют сани, очень хорошо исправленные Иоргенсом. Так как нужно взять с собой каяк, палатку, спальные мешки и съестные припасы, не говоря уже об оружии и патронах, то общий груз составляет около 50 килограммов. Но при таких условиях им никогда не удастся проходить от 15 до 20 километров в день, как предполагает Торнквист. Поэтому он решил уменьшить количество вещей

Вместо него за старшего остается боцман Штрейк и, если с разведчиками, не дай бог, случится несчастье, он будет командиром на «Эльвире». Выступить решено завтра.

Сегодня вечером мы долго разговаривали с Торнквистом. Несколько раз он брал мою руку, и я не отнимала ее. Ему, как и мне, видно, тяжело расставаться. Уходя, он поцеловал меня в голову. Я не в силах была бранить его, и мы долго молча глядели один на другого, держа друг друга за руки... а потом я внезапно убежала, опасаясь выдать себя.

7 июля.

Они ушли сегодня утром, при ясной погоде. Мы проводили маленький отряд на 5 километров; все были взволнованы при расставании. Торнквист отвел меня в сторону и, крепко сжав мне руки, прошептал: „Прощайте, моя дорогая Ивонна, до свидания..." Затем, не оборачиваясь, запрягся в сани вместе со

своими товарищами. Через несколько минут они почти скрылись из виду, и можно было разобрать вдали только темную массу саней и тащивших их трех людей... В молчании мы вернулись на корабль. Придя к себе в каюту, я разрыдалась. Теперь, до возвращения Торнквиста, я буду жить все время в страхе и волнении.

8 июля.

Ничего нового.

9 июля.

Погода пасмурная; небольшой ветер. Днем отправилась с Андерсеном на лыжах по направлению к югу. Видели довольно большие полыньи. Но, к сожалению, они все замкнутые, на подобие небольших озер, тогда как нам нужны каналы. На обратном пути Андерсен сказал мне, что он лично не верит в возможность добраться до открытого моря. Слишком толст лед и мало пространств со свободной водой. Боюсь, что он вполне прав.

11 июля.

Вчера не о чем было писать. На душе тоска и уныние. Прогулка на лыжах с Андерсеном отняла у меня всякую надежду.

12 июля.

Как смеялся бы Торнквист над бедной Ивонной, если бы мог видеть, чем я занималась сегодня весь день у себя в каюте. Гадала на картах! И это я — женщина-врач! Выходили всё двое каких-то мужчин, — один окруженный пиками. Уж не случилось ли чего-нибудь с Торнквистом? В конце концов я бросила карты и вышла на палубу. День был пасмурный. В южной стороне неслись по небу черные тучи, разрываемые сильным ветром.

13 июля.

Спала плохо. Всю ночь меня преследовали кошмары, в которых постоянно являлся валет пик. Лежала на койке до полудня.

В отсутствие Торнквиста люди ничего не делают и объедаются мясом. Штрейк ни за чем не смотрит; целые дни он проводит в „мастерской" с Ларсеном и Эльвенбергом, которые стали его неразлучными друзьями. Они, несомненно, о чем-то сговариваются. Придется сказать об этом Торнквисту.

14 июля.

Со вчерашнего дня температура значительно понизилась; дует сильный северный ветер; несмотря на солнце, в каютах один градус мороза. Штрейк

сегодня утром должен был даже проявить власть, чтобы помешать матросам топить печи. Ведь, у нас и без того мало топлива. Что же тогда будет зимою?

15 июля.

Сегодня ровно два года с того знаменательного дня, когда я решилась отправиться на «Эльвире»... Как всё это произошло? Почему, как раз в тот день, когда я была у Маннергейма, пришел Торнквист, которого я тогда не знала, и стал жаловаться, что провиант не доставляют, обещанного угля нет и, в довершение всего, приглашенный им врач отказался ехать... И почему в этот момент точно кто-то толкнул меня сказать: „Быть может, я бы могла заменить его". Видно, значит, такова была моя судьба!

16 июля.

Гейнрихсен ранил сегодня тюленя метрах в ста от корабля. Но как это часто бывает, тюлень успел нырнуть и исчез под водой. Опять даром потерянный заряд.

17 июля.

Торнквист вернулся вчера поздно вечером с совершенно больным Иоргенсом. Сам же Торнквист и Шранк здоровы, но все трое измучены до крайности. Им пришлось оставить сани с палаткой и каяком километрах в десяти от корабля. Трое матросов тотчас же отправились за ними.

Вернуться пришлось из-за Иоргенса, который повредил себе мускул на ноге. Внезапно у него сделалась сильнейшая боль. Опасного ничего нет. Отдых и массаж скоро поставят его на ноги. Но какие нечеловеческие усилия должен был он употребить, чтобы итти в продолжение трех дней с такой болью! Он ни за что не согласился, чтобы его везли на санях, и все время шел пешком. Торнквист почти ничего не рассказал про свою разведку, но по его лицу я вижу, что дело обстоит плохо и нет никакой надежды добраться до „открытого" моря.

18 июля.

Сегодня днем Торнквист собрал всех в общей каюте и сделал сообщение о результатах разведки. Оказывается, что нечего и думать довести Эльвиру до предполагаемого открытого моря, которое, к тому же, находится очень далеко. Правда, по направлению к югу имеются значительные пространства свободной воды, но между ними на таком громадном расстоянии лежат ледяные поля, что нескольких тонн динамита не хватило бы, чтобы очистить проход для «Эльвиры».

— Таким образом, друзья мои, — закончил свою речь командир, — придется смириться с мыслью о необходимости провести еще одну зиму среди льдов. Я не сомневаюсь, что это будет последняя зима, так как дрейф неуклонно уносит нас к западу. Движение это очень медленное, но в конце концов мы достигнем свободного моря, будьте в этом уверены. К счастью, у нас с избытком хватает продовольствия на эту зиму, так что с этой стороны опасений не должно возникнуть.

Эта короткая, но энергичная речь встречена была молчанием, так как, несмотря на уверения Торнквиста, все мы прекрасно знаем, что, если нам приходится рассчитывать только на дрейф, наши шансы на спасение равны нулю.

19 июля.

Торнквиста очень беспокоит настроение матросов Они, кажется, заявили ему, что лучше было уйти с Бострем, бросив тех, которые не могли идти. Они уверены, что Бострем и ушедшие с ним люди давно выбрались из льдов и находятся теперь в полной безопасности. Больше всех охвачен унынием Штрейк, которому Торнквист сделал выговор за найденный по возвращении беспорядок. А ведь он, казалось бы, должен был подавать пример остальным.

После ужина Торнквист рассказал нам о своем путешествии. 11-го, днем, Иоргенс повредил себе ногу. Целую ночь он ужасно страдал, и утром решено было возвратиться, тем более, что открытое море, казалось, было так же далеко, как и тогда, когда они покинули корабль.

Обратный путь был очень тяжел, и они употребили семь дней, чтобы пройти то же расстояние, которое, идя туда, прошли в три дня. Нечего было и думать везти больного на санях, так как и без того Торнквист и Шранк должны были употреблять невероятные усилия, чтобы тащить палатку и спальные мешки.

Но Торнквист умолчал о том, что в продолжение двух ночей он ни минуты не спал и все время ухаживал за больным Иоргенсом, приготавливал ему чай и делал компрессы из своего парусинового жилета, который снял для этой цели, рискуя простудиться. Иоргенс рассказал мне об этом со слезами на глазах. Нет, положительно, у этого Торнквиста благородная душа! А как я плохо думала о нем!

Несмотря на свою энергичную речь, я хорошо вижу, что Торнквист потерял всякую надежду на спасение.

— Перестанем говорить обо всем этом, — сказал он, когда я стала расспрашивать его о подробностях. — Поговорим лучше о вас. Что вы делали за все это время? Благоразумно вели себя? Думали ли немного об отсутствующих?

Он говорил все это шутливым тоном, но его глаза выдавали его. Я вспомнила о моем гадании и невольно покраснела. Торнквист весь просиял и сказал мне:

— Так, значит, правда, вы иногда думали немного обо мне?

— Все время, — пробормотала я, не отдавая себе отчета в моих словах. А потом... Но зачем доверять бумаге то, что я всегда буду хранить в моем сердце, как величайшее сокровище. Да и ты тоже, мой дорогой Отто.

20 июля.

Боцман Штрейк был сегодня у Торнквиста и разговаривал с ним больше часу. Я думала, что дело касалось службы, но с самого начала разговор принял бурный характер. Несколько раз я слышала, как командир ударял по столу кулаком и кричал: „Нет, никогда. Ни-за-что“. Штрейк же оставался все время спокойным, но возвышал голос более, чем это следовало бы. В конце концов Торнквист прервал разговор, сказал: „Хорошо, я подумаю“.

Иоганн Штрейк, хотя и боцман, умеет скорее подчиняться, чем приказывать, что он и доказал во время отсутствия Торнквиста. Это довольно вялый и молчаливый человек и никогда не вмешивается в споры, которые за последнее время возникают особенно часто по поводу малейшего пустяка. Поэтому его сегодняшнее выступление меня так удивило, что я спросила Торнквиста, в чем дело...

— Пустяки... ничего серьезного, — ответил он. Но вид у него был озабоченный.

21 и 22 июля.

Погода плохая; туман и порывы резкого ветра. Кругом, куда ни глянешь, бесконечное ледяное поле, с разбросанными то здесь, то там полыньями, и где-то, очень далеко, открытое море. Доберемся ли мы до него, и если да, то через сколько времени? Трудно допустить, чтобы мы так долго могли выдержать.

23 июля,

Погода прояснилась. Сегодня с утра в помещении для матросов идет какое-то совещание. Штрейк, окруженный кучкой людей, с кем-то рассуждает, что совсем не в его привычках. У всех вид взволнованный, они бегают взад и вперед без цели, охваченные каким-то беспокойством. Очевидно, что-то готовится.

24 июля.

Несмотря на довольно сильный западный ветер, все кругом окутано туманом. Лед трещит и в течение целого дня доносится издали какой-то гул, похожий на отдаленные залпы артиллерийских орудий. Все находятся в тревожном настроении, но снова полны надежды. Неужели, наконец-то, лед расступится и освободит проход к открытому морю.

27 июля.

Со вчерашнего дня нас осталось только восемь человек. За эти три дня произошли такие события, что у меня не было минуты свободной приняться за мой дневник.

25 июля, в понедельник, в двенадцать часов, Штрейк обратился к Торнквисту с просьбой принять делегацию от матросов. Торнквист хотел обратить все в шутку.

— В чем дело, Штрейк. Хотите, что ли, забастовку устроить? — спросил он.

Но Штрейк, с угрюмым видом, не дал ему окончить.

— Не время шутить теперь, — заявил он. — Мы хотим сообщить вам, что мы решили. Мы так же желаем вернуться к нашим семьям, как Бострем, который теперь уже на родине...

— На родине? — воскликнул Торнквист. — Но откуда же ты это знаешь?

— Да, он добрался до Мурмана; мы это знаем. Густав, — и он указал на Ларсена, — ясновидящий, и сообщил нам об этом. Три недели тому назад ему явился Бострем с сияющим лицом и сказал: "Выбери двух товарищей и уводи, как и я"...

Возмущенный Торнквист пожал плечами и сказал ему:

— Ведь, надо быть круглым дураком, чтобы в это время года пускаться в путь. Разве ты не знаешь, что к югу повсюду находятся громадные пространства воды, а лед между ними рыхлый, как каша. При таких условиях ты не пройдешь и версты в день, если предположить, что я отпущу тебя. Мы с Иоргенсом и Шранком видели все это. Не веришь мне? Тогда спроси Гейнрихсена, он провел восемь лет на Шпицбергене и знает хорошо здешние условия.

И с этими словами Торнквист обратился к Гейнрихсену, как бы призывая его в свидетели. Мнение Гейнрихсена, опытного моряка и рассудительного человека, несомненно, должно было произвести впечатление на этих безумцев. Но, к великому удивлению Торнквиста, Гейнрихсен, перебирая руками свою засаленную фуражку, пробормотал:

— Не спрашивайте меня, не хочу я мешаться в это дело. Раз Густаву явился Бострем и дал такой совет, то уж видно, надо так сделать.

Торнквист только молча развел руками. За исключением машиниста Кульмгрена и Шранка, большого плута, но считающего себя очень умным, все остальные, по-видимому, вполне разделяли мнение Гейнрихсена. А тут еще как раз появилась чайка, одна из тех редких птиц, которых мы уж давно не видели, и полетела по направлению к югу.

— Вот, она нам дорогу показывает, — воскликнул Штрейк.

Видя такое упорство, Торнквист решил выставить другой аргумент.

— Хорошо, — сказал он, — допустим, что Бострем явился Ларсену и советует вам пуститься в путь. Но каким образом вы потащите с собой провиант и спальные мешки, как проберетесь через полыньи и, наконец, как поплывете по открытому морю, если до него доберетесь?

— Мы сделали сани, — отвечал Штрейк.

Они, на самом деле, смастерили примитивные сани, без железных подрезов, которые даже с небольшим грузом не выдержали бы и трех дней пути.

— А, впрочем, нас поведет Ларсен, на то он и ясновидящий. Не правда ли, Густав?

„Ясновидящий“ молча кивнул головой.

Напрасно Торнквист объяснял им, что ближайшая земля находится в сотнях километров, и что он знает, каков путь по ледяному полю, так как сам недавно проделал его. Они не поддавались никаким увещаниям:

— Мы решили, Ларсен поведет нас, — упрямо отвечали они.

Что было делать с этими безумцами. Оставалось последнее средство: отказать им в выдаче съестных припасов и оружия для охоты. Торнквист сделал и эту попытку, но, при первых же его словах, Штрейк прервал его:

— Мы имеем право на нашу долю провианта, — сказал он резким тоном. — И потом, отчего же отказывать нам, когда Бострему все было дано, — закончил он угрожающим тоном.

Торнквист весь побледнел и должен был сделать невероятное усилие, чтобы сдержаться.

— Хорошо, — сказал он, наконец, после продолжительного молчания, во время которого он широкими шагами ходил взад и вперед по палубе. — Я подумаю, да и вы тоже подумайте. Утро вечера мудренее.

Вечером Торнквист совещался со мной и с Кульмгреном, как лучше поступить. Кульмгрен выдвинул одно, довольно резонное соображение:

— Надо их отпустить, — сказал он, — и чем скорее, тем лучше, а то они взбунтуют весь экипаж. Раз они решили, ничего с ними не поделаете. Да и какая от них была бы польза, если бы вы их удержали? Они только мутили бы всех, и вечно можно было бы ожидать каких-нибудь новых выдумок.

Эти слова были подсказаны здравым смыслом, и Торнквист, поразмыслив еще немного, решил не препятствовать уходу троих безумцев.

28 июля.

Случай с Ольсеном заставил меня прервать мой рассказ. Надо сознаться, что наши люди невероятно беспечны. Один из них отправился в каморку, находящуюся под общей каютой, в которую проникают через люк, и позабыл закрыть крышку люка. А люк этот находится в довольно темном проходе, ведущем к лестнице. Спускавшийся с палубы Ольсен не заметил, что люк

открыт, провалился туда, разбил себе голову и остался лежать без чувств. Придя в себя, он кое-как добрался до общей каюты с окровавленным лицом. К счастью, ничего опасного нет. Но у меня очень мало осталось бинтов и ваты, и этот случай, происшедший из-за глупой небрежности, страшно рассердил меня.

Торнквист произвел расследование, но все с трогательным единодушием показали, что вот уже несколько недель, как никто из них не ходил в каморку.

— Вероятно, это Штрейк или кто-нибудь из ушедших с ним, — заявили они, сваливая вину на отсутствующих.

Штрейк, Ларсен и Эльвенберг покинули нас в понедельник вечером. Торнквист дал им мешок с сухарями, две жестянки молока (у нас осталось только восемь), пять банок мясных консервов и пять пакетов масла. Кроме того, они унесли два ружья и шестьдесят патронов.

Хотя они ушли и самовольно, нам было очень грустно с ними расставаться — ведь, как никак, а мы прожили вместе около двух лет, вместе терпели лишения и подвергались одинаковым опасностям. Вечером, за ужином, все молчали, и настроение было грустное. У всех, очевидно, не выходила из головы мысль об ушедших, а также и о тех, кто покинул нас весной. Из 22, отправившихся в экспедицию, теперь осталось только восемь.

Возможно, что Бострему и его сотоварищам, если не всем, то хоть некоторым, и удалось добраться до твердой земли. Что же касается Штрейка, Ларсена и Эльвенберга, то Торнквист не сомневается, что они идут на верную смерть. С таким снаряжением, как у них, да еще без каяка, им далеко не уйти. Он, впрочем, думает, что они скоро вернутся. Но на что только не способны эти безумцы.

29 июля.

Ничего нового. Об ушедших нет никаких сведений.

30 июля.

Сегодня ровно два года, как «Эльвира» отправилась в плавание. Был чудный день, солнце ярко сияло, все были преисполнены энтузиазмом... Как сейчас помню жену Янсена, которая повисла на шее своего мужа со слезами на глазах и умоляла его: „Не уезжай, не покидай меня..."

Меня одну никто не провожал; я была такая слабая, беспомощная... И, однако, теперь я осталась вместе с наиболее выносливыми. Долго ли еще это продлится и какова будет предстоящая зимовка? А что нам ее не избежать, в этом нет сомнения... А, между тем, как легко было бы покончить со всеми этими мучениями, — подумала я, и мой взгляд невольно упал на ящик с медикаментами, где так легко можно было найти освобождение. Но я не имею

права этого сделать, я нужна здесь, как врач, и на такое дезертирство никогда не пойду.

31 июля.

Хороший день. Солнце. Утром я отправилась на лыжах за несколько километров от корабля, чтобы посмотреть, в каком состоянии лед. Гейнрихсен хотел идти со мной, но скоро его распухшие ноги отказались ему служить, и он вынужден был вернуться. Быть может, это цынга. Тогда, значит, еще одна жертва этой ужасной болезни.

Несмотря на то, что солнце светит вот уже четыре дня, лед такой же прочный, как и раньше. К юго-западу, как и всегда, небо такое, как бывает над открытым морем. Я направилась в эту сторону, но по мере того, как я двигалась, мираж все удалялся и удалялся.

Лето кончается. Трудно допустить, чтобы до 15 августа положение изменилось. Придется, значит, отдаться дрейфу и двигаться туда, куда нас понесут ледяные поля.

1 августа.

Сегодня в первый раз я самостоятельно определила наше местонахождение; мы находимся под $85^{\circ} 15'$ северной широты и 55° восточной долготы. Торнквист, проверивший мои вычисления, нашел, что они совершенно правильны, и сказал, что гордится своей ученицей. Из всех людей, находящихся на «Эльвире», только я одна научилась делать измерения. Остальные, когда Торнквист хотел показать им, как это делается, только пожали плечами. — К чему это? — сказали они. — Мы и так знаем, что находимся на краю света, затертые льдами. А немножко дальше или ближе, не все ли равно.

8 августа.

Целая неделя без всяких происшествий. Перечитывала Шекспира и спорила с Торнквистом насчет Отелло.

— Такой же ревнивец, как и я, — заметил он. — Смотрите, Ивонна, берегитесь.

14 августа.

Видно, у меня войдет в привычку братья за мой дневник только раз в неделю. Или я так разленилась? Нет, это происходит оттого, что нет никаких событий, и один день проходит, как другой. От нечего делать изучала „Инструкцию по навигации“. Очень интересное чтение!

15 августа.

Сегодня мы достигли до 85° градуса и 45 минут северной широты и 53 градуса восточной долготы, перейдя таким образом предел, достигнутый «Фрамом», продвижение которого Торнквист изучил самым подробным образом. Из тех мест, где мы находимся, судно Нансена уносило к западу, тогда как мы продвигаемся, правда, очень медленно, все более и более к северу. В течение трех месяцев мы продвинулись более, чем на 300 километров к полюсу и находимся теперь от него на расстоянии приблизительно 400 километров. Торнквист все-таки не теряет надежды; он утверждает, что течение в скором времени должно повернуть к западу и принесет нас к Шпицбергену. Дай бог, чтобы он был прав. Но тот запас продовольствия, который мы взяли с собой, страшно уменьшился. Сухарей у нас осталось всего лишь три ящика, и этого едва хватит на зиму, и то при условии крайней бережливости; консервов остается двадцать две жестянки с мясом, двадцать семь с овощами, три с вареньем, восемь банок сгущенного молока и чаю в достаточном количестве. Ни кофе, ни какао нет. Соль почти что вся израсходована. А зима еще не начиналась...

Вопрос с топливом внушает еще более опасений. Угля у нас давно уже нет ни крошки, и еще прошлую зиму пришлось сжечь часть переборок в носовой части трюма и несколько ящиков от консервов, что не помешало нам дрожать от холода. В так называемой мастерской, где работал Бострем со своими товарищами, холод доходил до 30° мороза. Что касается керосина, то его у нас имеется еще 50 литров для примуса. Значит, для освещения придется опять пользоваться светильниками с жиром, которые больше воняют, чем дают света. Мыла давно уже нет, и я ревниво сохраняю два оставшиеся куска. Я готова все перенести, кроме грязи, к которой так привыкли наши люди. На это я положительно не способна. Забавно видеть, до чего люди могут спуститься. Даже Кульмгрен, такой щеголеватый прежде, стал теперь неузнаваем. Уже прошлой зимой он отрастил длинные волосы и бороду, а теперь бог знает, на кого похож и совершенно не заботится о целом слое грязи, покрывающем его лицо, который делает его похожим на эскимоса. Наши одежды в самом жалком виде и, чтобы починить их, у нас ничего нет, кроме парусины. Что же касается обуви, то это какие-то мокасины, сделанные Андерсеном, который был когда-то в учении у сапожника. Плохо дубленая кожа коробится, твердеет и вызывает раны на ногах, которые не заживают из-за холода. Почти каждый день мне приходится лечить такие раны. С подобной обувью мы не ушли бы и двадцати километров. И подумать только, что Штрейк со своими приятелями мечтал добраться до Шпицбергена.

16 августа.

Ничего нового. Погода снова портится.

17 августа.

Первый снег. В прошлом году он выпал 5-го, хотя мы были южнее. Но положительно ничего нет капризнее климата в полярных странах.

30 августа.

За все это время ничего не произошло. Близится сентябрь, а вместе с ним и уверенность, что «Эльвире» придется провести третью зиму затертой во льдах.

31 августа.

Сегодня я спросила Торнквиста, как мы устроимся на зиму. То, что он сказал мне, несказанно огорчило меня. Оказывается, что все мы забьемся в общую каюту, где нам не будет особенно тесно из-за убыли экипажа. Не может быть и речи о том, чтобы мы остались в своих каютах. Даже в этом общем помещении Торнквист думает, что не удастся поддержать температуру выше, чем в 5 или 6 градусов. Меня, во внимание к моему полу, постараются устроить как-нибудь отдельно, за перегородками по возможности, поближе к печке. Не очень-то веселая перспектива! Но как поступить иначе?

6 сентября.

Я стараюсь насколько возможно оттянуть переселение из моей каюты, но придется на это решиться. Сегодня утром, например, я проснулась, вся продрогшая. Во всех углах уже появились ледяные сосульки.

16 сентября.

Вот уже неделя, как я в моей келье, как называет мое новое помещение Торнквист. Восемь футов длины и шесть ширины... и ни одного окна! Настоящий карцер. В первый день я плакала, как ребенок, и целую неделю не могла взяться за дневник.

20 сентября.

Привыкну ли когда-нибудь к этой ужасной тесноте? Вчера, захватив спальный мешок, я хотела провести ночь в моей каюте. Но моя бывшая квартира уже вся обледенела и невозможно было открыть дверь. Пришлось возвратиться назад.

24 сентября.

Сегодня, после обеда, сделано открытие, вызвавшее всеобщую радость. Роясь в кормовой части трюма, Ольсен нашел там, под кучей старых парусов, позабытую с прошлого года жестянку керосина. Этот керосин даст нам возможность хоть раз в неделю устроить приличное освещение. Торнквист решил, что мы будем делать это по воскресеньям.

25 сентября.

С сегодняшнего дня Мишки¹ больше нет на корабле, и я напрасно ждала его почти целый день. Очевидно, свобода пришлась ему по душе и он позабыл своих друзей на «Эльвире».

Держать больше этого медвежонка было, конечно, неблагоприятно. Зимой это был бы весьма неудобный сожитель. Особенно смущал нас вопрос питания, так как охота, в общем, дала нам довольно мало. Правда, последнее время мы кормили его треской из купленных нами в Норвегии четырех боченков, которые совершенно испортились от сырости. Но в дальнейшем пришлось бы давать ему моржевое и тюленьё мясо, которого у нас и так немного.

Таким образом, после долгих обсуждений, участь этого любимца всего экипажа была окончательно решена. Особенно сильный спор разгорелся между Ольсеном и Андерсеном. Андерсен, мужчина громадного роста, настоящий богатырь, души не чаял в „своем медведе" (это, действительно, он притащил его на корабль), что было весьма удивительно в таком грубом человеке. Нередко он отказывался от своей порции сухарей, чтобы угостить ими Мишку, который чувствовал к нему особую привязанность и слушался его, как собака. Когда, бывало, Андерсен уходил куда-нибудь довольно далеко от корабля, Мишка всегда следовал за ним и никогда не обнаруживал желания сбежать. Поэтому, когда Ольсен, поддержанный Шранком, предложил просто-напросто пристрелить медведя, Андерсен, вне себя, бросился на него и стал трясти его, как мокрую собаку, при чем объявил, что выбросит его за борт, если он еще посмеет делать такие предложения. Остальные розняли их, и Андерсен, в конце-концов, успокоился.

Но, как бы то ни было, а надо было изобрести способ так или иначе отделаться от Мишки, и Кульмгрен предложил просто завести его подальше от корабля и там оставить, как „мальчика с пальчик". Оставшись один, медведь, конечно, не пропадет и, быть может, даже найдет своих родственников. План этот был одобрен всеми, кроме, конечно, Андерсена, который объявил, что в таком случае пусть уж и его выгонят. Но другого ничего нельзя было придумать и поэтому сегодня утром Торнквист и Йоргенс увели Мишку на веревке по направлению к югу, так как ветер дул с южной стороны и это

¹ Из дальнейшего видно, что речь идет о белом медведе, пойманном молодым и ставшем совершенно ручным.

должно было помешать медведю найти дорогу к кораблю. На прощанье ему дали, в виде завтрака, целую часть тюленя вместе с сухарями (пожертвованными Андерсеном из его порции, который, глядя, как уводили его любимца, плакал горькими слезами), Торнквист захватил с собой железный колышек, чтобы вбить его в лед и привязать к нему Мишку. Пока он перегрызет веревку, они успеют удалиться.

Все произошло, как и предполагалось. Бедный Мишка, привязанный к позорному столбу, долго следил за удалявшимися людьми своими маленькими глазками, в которых выражалось неподдельное удивление. Он, вероятно, думал, что над ним просто хотят подшутить...

26 сентября,

О Мишке нет никаких известий.

27 сентября.

Мишка, очевидно, предпочел свободу среди ледяных полей житью на «Эльвире», так как о нем нет ни слуху ни духу.

28 сентября.

Глубоко огорченный Андерсен отправился втихомолку на поиски за своим любимцем. В течение трех часов под ветром и снегом он бродил по ледяному полю, но без всякого результата.

— Я ходил прогуляться, — ответил он по возвращении, когда его спросили, где он был, и только мне одной признался в цели своей прогулки. — Вы, ведь, тоже любили моего дружка, — сказал мне этот столь грубый обыкновенно человек, но который становится положительно трогательным, как только начинает говорить о своем четвероногом приятеле. По этому поводу он не выносил ни малейшей шутки и еще сегодня днем чуть не побил Шранка, спросившего его с насмешкой об его исчезнувшем „братце“.

29 сентября.

Ничего нового. Погода плохая. Торнквист снова жалуется на слабость и боли в пояснице, хотя вчера и отдыхал целый день. Боюсь очень, не начало ли это нового приступа цынги.

30 сентября.

Торнквист опять лежал целый день в полудремоте. Он, как будто, теряет память и не отдает себе ясного отчета в различных фактах. Я долго сидела у его изголовья, стараясь намного его развлечь. Заговорила, между прочим, о Мишке...

— Мишка, кто это такой? — спросил он, глядя на меня мутными глазами. А, ведь, наш славный медведь был также и любимцем командира и, когда он вернулся, бросив Мишку, у него были слезы на глазах.

Понемногу, однако, память стала к нему возвращаться, и мы долго говорили об инстинкте у животных. Разговор этот как-то подбодрил меня. Ведь, уж так давно, как мы ни о чем другом не говорили, как только об ежедневных заботах, о топливе, провизиях и о приближающейся зиме, заканчивая этот невеселый разговор обычной фразой:

„Удастся ли нам выбраться из льдов, достигнуть открытого моря и вернуться в цивилизованный мир?“

2 октября.

Вчера мне пришлось оставить мой дневник. Вечером, когда я обыкновенно пишу, у Торнквиста сделался сильный сердечный припадок. Для меня совершенно ясно, что у него будет опять приступ цынги, — третий в течение трех лет. Он это сознает, и это очень жалко, так как после ухода Бострема он все сильнее и сильнее начинает падать духом. Это был вообще несчастный день, так как в тот момент, когда я давала дигиталис Торнквисту, прибежал Гейнрихсен, громко кричавший от боли. Оказывается, он опрокинул лампу с жиром и обжег себе ногу. К счастью, на нем были сапоги, и ожог, хотя и мучительный, не опасен. Но беда, что лучший наш охотник выбыл из строя на две недели.

3 октября.

Погода тихая. Большую часть дня я провела, сидя около Торнквиста, которому сегодня как будто немного лучше. Но аппетита нет, и он жалуется на боль в челюстях. Положительно, это цынга.

4 октября.

Дни становятся все короче и короче, хотя со вчерашнего дня стоит ясная погода и небо ярко голубое. Но солнце совсем не греет и свет его какой-то тусклый.

5 октября.

Сегодня утром Торнквист хотел встать, чтобы определить, где мы находимся. Но ему пришлось отказаться от этого намерения, и он с большим трудом вернулся в каюту. По моим измерениям, мы сейчас под 86°12' северной широты и 53° восточной долготы; значит, мы продвинулись приблизительно на 30 километров и на этот раз по направлению к северо-северо-востоку. Скверное это направление.

6 октября.

Утром большой переполох. Замечены два медведя, правда, на довольно далеком расстоянии от корабля. Только опытный глаз Гейнрихсена мог их заметить, так как пелена тумана все время колеблется, — то надвигается, то отходит, или поднимается и опускается. Несколько человек, вооружившись ружьями, сейчас же отправилось в ту сторону.

Андерсен, разумеется, был во главе их.

— Вы увидите, что это Мишка, — сказал он мне с сияющим лицом, покидая корабль. Охота оказалась успешной, были убиты два жирных медведя, что повергло всех в великую радость, кроме Андерсена, которого постигло разочарование. Мишка, очевидно, проявил глубокую неблагодарность и скрылся навсегда.

9 октября.

Два дня были посвящены мною исключительно литературе. По поводу разговора о медведях мне вспомнился один случай из моей жизни, и в продолжение сорока восьми часов я позабыла, что существует и «Эльвира», и ледяное поле, и северо-восточный ветер, яростно дующий со вчерашнего дня, и унеслась мыслью в пространство и время. Я превратилась в маленькую девочку, с длинными косами, в синем переднике. Мать моя была гувернанткой в семье богатой помещицы Сидоровой и до семнадцатилетнего возраста я жила вместе с нею и каждое лето, а иногда и зиму, проводила в большом имении madame Сидоровой в окрестностях Урала. Сколько незабвенных часов провела я там, бегая по громадному саду или заглядывая в конюшню, где старый кучер Иван встречал меня всегда с радостной улыбкой. Какие очаровательные прогулки делали мы с дочерью madame Сидоровой — Соней, какие шалости выкидывали с Гришей, самым старшим из ее братьев!

10 октября.

Торнквист возвратил мне мою рукопись и поздравил меня. Сначала я думала, что он шутит, но потом увидела, что он говорит это совершенно искренно.

— Прочтите мне еще раз этот рассказ вслух, Ивонна, — попросил он меня. — Меня это развлечет, и хоть на несколько минут я унесусь отсюда мыслью.

Я, разумеется, охотно согласилась и сегодня вечером устроила нечто вроде доклада.

Матросы также попросили разрешения присутствовать; они были в восторге послушать что-нибудь интересное, так как лекции по разным вопросам, которые читал им Кульмгрен в прошлом году, вызывали в них только зевоту. Торнквист был очень доволен, видя, как после окончания чтения обыкновенно

молчаливые и угрюмые люди с оживлением спорили по поводу моего рассказа. Вот, что я им прочитала.

Медвежата.

„Сыновья madame Сидоровой притащили с охоты трех маленьких медвежат, мать которых была убита. Дело было зимой, и медвежат держали все время в теплой кухне деревенского дома. Когда я в первый раз заглянула в корзину, где они лежали, я прежде всего почувствовала своеобразный запах диких зверей; вглядываясь пристально, я увидела три мохнатые комка, которые шевелились в соломе.

Понемногу они подросли и покрылись густой и мягкой шерстью. Их морды были нежные и чистые, а маленькие хитрые глаза весело глядели на свет. К этому времени медвежат осталось только двое, — третий сдох вскоре после того, как их притащили.

В течение лета медвежата были неразлучными спутниками моих игр. Как сейчас вижу залитую солнцем песчаную площадку перед большим деревянным сараем. Там находилась длинная доска, положенная на двух столбиках. Я садилась в середине, наполовину скрытая душистыми ветвями дикого шиповника; доска сгибалась под моей тяжестью, производя характерный скрип. Услышав этот знакомый им звук, медвежата прибегали вперевалку и, подпрыгивая забавно, танцевали на своих широких лапах.

Они были теперь ростом с собаку. Став на задние лапы, они клали передние ко мне на колени. Затем, сунув лапу себе в рот, начинали упрямо сосать ее, испуская при этом легкое ворчание и прищелкивая языком.

Но вдруг один из них, завидя нашу собачонку, Дика, убегает от меня и начинает играть с ней, не причиняя ей никакого вреда. Я же, завладев оставшимся медвежонком, бегу с ним, и мы начинаем вместе кататься в мягкой и душистой траве. Пахнет сырой землей и медвежьим мехом. Горячее дыхание медвежонка обдаёт мое лицо. Я хохочу и отбиваюсь от легких ударов его плоских и твердых лап.

Затем мы вскакиваем и бежим дальше; мой приятель взбирается на дерево с легкостью обезьяны...

Чудное, незабвенное детство! Весенние солнечные дни! Мои милые медвежата! С какой тоской вспоминаю я вас теперь...

В четыре часа на балконе подают чай, кофе с жирными сливками, маленькие булочки с тмином и свежий пеклеванный хлеб. Собирается вся семья... шутки смех веселые разговоры...

Неожиданно появляются медвежата и, обнюхивая воздух, косо поглядывают на стол. На них кричат, и они исчезают, но через некоторое время снова появляются, с любопытством глядя на нас своими маленькими глазами.

Но вот чай окончен, и все покидают балкон. Этого момента только и ждали медвежата и моментально взбираются на стол...

Услышав шум, madame Сидорова бежит на балкон, я следую за ней. Медвежата неуклюже сидят на столе и поедают пирожки и хлеб... Они опрокинули варенье, обмакивают туда лапу и с наслаждением облизывают ее, ворча от удовольствия. Но вот они заметили нас и собираются удирать... большой стол качается от их тяжести, и чашки, стаканы и блюдечки летят во все стороны...

Теперь они уже внизу, и видно только, как покачиваются их толстые зады с короткими хвостами, в то время, как они спускаются по лестнице.

Madame Сидорова не сердится. Она любит славных медвежат...

Между тем, лето подходило к концу, и медвежата росли не по дням, а по часам. Хотя они и оставались по-прежнему совершенно мирными, но соседние крестьяне, приходившие в усадьбу, начинали бояться их и косо на них поглядывали. Приходил даже волостной старшина, говоря, что надо бы их убирать: мало ли что может случиться... как никак, а все-таки это дикие звери...

Тогда им построили нечто вроде каменной будки и стали запирать их в ней. Бедные медвежата жалобно ворчали — им хотелось на свободу, на солнце, хотелось поиграть со своими приятелями. Я была в отчаянии. Однако, нужно было на что-нибудь решиться. К осени они должны были превратиться в совершенно взрослых медведей.

— Нужно их пристрелить, — предложил лесник.

Но мой Гриша возмутился:

— Мы воспитали их, кормили их с рожка и привыкли к ним. Пока я здесь, я не допущу, чтобы их убили.

— По-моему, их надо выпустить на свободу, — предложила madame Сидорова. — Пусть себе живут в лесу.

После некоторых колебаний все согласились с этим мнением, и решено было посадить их в ящик, и отвезти в лес, за Чортовым Болотом и выпустить в диком и пустынном месте. Оттуда они не найдут дорогу назад и скоро одичают.

Так и было сделано.

Я так была рада, что удалось спасти жизнь медвежатам, что даже не горевала по поводу их отсутствия. Но скоро произошло нечто, поистине ужасное.

Где-то, за Чертовым Болотом, крестьяне косили сено на лесной лужайке. Вдруг из лесу вышли два медведя и направились к ним. Правда, это были еще медвежата, но крестьяне приготовились встретить их, как взрослых медведей. Бедные медвежата, увидя людей, шли к ним, очевидно, с полным доверием, но крестьяне встретили их с косами. Одного из них захватили еще живым и потащили к лесничему, перебив ему предварительно лапы, чтобы он не мог причинить вреда и было бы легче убить его.

Другой же, весь израненный и окровавленный, кое-как ушел в лес, ничего не понимая из того, что произошло.

Несколько дней спустя Гриша проезжал через лес. Внезапно он услышал какие-то стоны. Он углубился в чащу и увидел нашего медвежонка умирающим. Бедное животное открыло глаза и жалобно посмотрело на него, тогда он взял ружье и, выстрелив ему в ухо, прекратил его мучения.

Вот как окончили жизнь наши бедные медвежата".

15 октября.

Отчего за эти последние дни я посвятила все свое свободное время на то, чтобы „привести в порядок мои дела", как любят выражаться на официальном языке? Я сама этого не могу сказать. Чувствую я себя здоровой, да и настроение уже не такое плохое, хотя я прекрасно отдаю себе отчет, что мы никогда отсюда не выберемся. Может быть, меня заставили так поступить нахлынувшие воспоминания. Большинство из взятых с собою писем и фотографий я уничтожила, но тщательно сохранила письма моей матери. Милая моя мама, зачем я не осталась с тобой? Как часто, наверно, вспоминаешь ты свою бедную Ивонну, с которой тебе даже не удалось попрощаться...

25 октября.

Когда я перебирала письма и фотографии, вся моя жизнь встала передо мной. Я вновь пережила и радостные и горестные минуты, вновь терзалась сомнениями и сожаленьями... Все это так подействовало на меня, что я прямо не в состоянии была вести свой дневник. Что мне сделать с ним? Положить ли в большой конверт с надписью „Уничтожить после моей смерти". Или сохранить его, чтобы моя мать прочла его, если я не вернусь в Россию?

Я долго думала об этом, не зная, на что решиться. Вопрос, действительно, очень сложный, так как весьма вероятно, что никто из нас не вернется на родину. Если неумолимый дрейф будет по-прежнему относить нас на север, то никто не увидит ни «Эльвиры», ни тех, кто на ней находится. К чему же тогда заботиться об участии этих тетрадок, которые никому не могут быть интересными, кроме, как мне и моей матери. Но зачем же уничтожать их? Об этом позаботятся льды и поглотят когда-нибудь эти страницы вместе с «Эльвирой» и унесут частицу меня самой, быть может, самую лучшую, так как в них я вложила всю мою душу.

29 октября.

Берусь снова за дневник, до которого не дотрагивалась в течение четырех дней. Если «Эльвира» до сих пор еще цела, то этим мы обязаны прямо чуду.

Никогда еще за все двадцать шесть месяцев, что мы находимся в полярных водах, гибель не была еще так близка от нас.

В воскресенье небо было ясно, и мы с Торнквистом решили воспользоваться этим днем, чтобы совершить прогулку на лыжах, по направлению к югу. Приблизительно в версте от корабля мы увидели большую полынь, что в это время года бывает очень редко.

Длина ее была около мили, тогда как ширина не превышала 20 или 30 метров. В чистой и прозрачной воде плавали небольшие ледяные глыбы причудливой формы.

Мы присели немного отдохнуть, и Торнквист заснул, положив голову мне на колени. Когда я разбудила его и напомнила, что пора идти, так как уж начинает темнеть, он вздохнул и сказал:

— Как жалко! А я видел такой чудный сон!

Затем, не прибавив ни слова, он встал, и мы отправились назад, держа друг друга за руки.

Прогулка принесла мне большую пользу, и я крепко заснула.

В середине ночи Гейнрихсен, лучше других знающий те опасности, которые подстерегают затертых во льдах моряков, разбудил Торнквиста и сказал ему, что лед пришел в движение и издали доносится глухой гул. Торнквист выбежал на палубу, но ледяное поле вокруг казалось совершенно неподвижным, и он, недовольный, что его разбудили, вернулся в каюту. Но оставшийся на палубе Гейнрихсен через некоторое время второй раз вызвал его на палубу. Лед, действительно, то поднимался, то опускался, как будто под влиянием каких-то подводных волн. Однако около 4 часов так встревоживший нас треск прекратился и ледяное поле как будто снова успокоилось. Все вздохнули свободно.

В понедельник, около 9 часов утра, Торнквист и Гейнрихсен отправились на разведку и увидели в сотне метров от Эльвиры громадную трещину. Это был, очевидно, результат того ночного движения льда, которое нас так испугало. По краям этой трещины были нагромождены громадные ледяные глыбы. По временам та или другая из них обрушивалась с невероятным шумом.

Положение становилось тем более тревожным, что кроме этой трещины, утром, метрах в 20 от корабля открылись еще и другие, на этот раз поперечные трещины; что же касается самой главной, то в течение дня можно было наблюдать, как она последовательно то расширялась, то суживалась.

Положение становилось опасным, и нужно было, не теряя времени, приготовиться покинуть корабль. Большую палатку, спальные мешки и оставленные Бостремом сани перетащили на палубу с тем, чтобы каждую минуту можно было сбросить все это на лед. Мешки с сухарями, ящики с консервами и примус положили в подвешенную на палубе большую шлюпку,

тогда как ту, что была поменьше, перетащили на лед, метров за пятьдесят от корабля. Затем каждый из нас приготовил на койке свои скромные пожитки, уложенные в холщевые мешки, после чего все с тревогой стали ожидать дальнейших событий. Остававшееся у нас топливо, керосин и запасы жира были также перенесены на лед.

Больше всех волновался Кульмгрен. Дело в том, что в конце сентября Торнквист приказал ему снять руль и винт, как это делалось при первых двух зимовках. Это были наиболее жизненные и подвергавшиеся наибольшей опасности части корабля, и выполнение этой, правда, очень тяжелой работы, было безусловно необходимо.

Но Кульмгрен, в общем добрый малый, но человек очень апатичный и ленивый, не проявил достаточно рвения и недовольным тоном заметил, что мера эта никакой пользы не принесет, ибо в 1913 и 1914 годах мы не испытывали никакого давления льда. К чему же тогда напрасно выбиваться из сил? Вот как смотрят на дело наши люди! А ведь Кульмгрен еще самый интеллигентный из них.

В понедельник, когда грозившая «Эльвире» опасность стала очевидной, Торнквист стал выговаривать ему за его небрежность, при чем остальные матросы, в сущности, столь же виноватые, как и машинист, начали ругать его последними словами. День за днем он все откладывал эту работу и довел до того, что к понедельнику ничего еще не было сделано. И вот теперь Кульмгрен, бледный, как смерть, ломая себе руки, не переставая, повторял: „Это моя вина, если нам нельзя будет пуститься в плавание!“ Все эти причитания вывели, наконец, из терпения Торнквиста, который сказал: „Чем плакаться, лучше сейчас же приняться за дело и постараться поскорей исправить ошибку“.

31 октября.

Пришлось снова прервать мой дневник, так как третьего дня у нас было столько работы, что некогда было думать о дневнике. Я трудилась в продолжение нескольких часов, как простой чернорабочий, и до сих пор еще у меня так болят руки, что я с трудом пишу. Пришлось опять перетащить на корабль шлюпку, съестные припасы, палатку, — словом, все, что мы снесли на лед с такой поспешностью, желая создать себе убежище от опасности, весьма, впрочем, ненадежное.

В понедельник вечером Кульмгрен принялся самым энергичным образом за работу; ему помогали Шранк и еще два матроса. Он начал с руля, сохранить который было важнее всего, так как без руля никакое плавание невозможно; кроме того, чтобы снять винт, ему, в виду сложности этого дела, нужны были еще несколько человек, а все остальные люди были заняты переноской вещей.

Но не успел пройти и час времени, как прибежал наблюдавший за льдом Андерсен и объявил, что образовалась новая трещина, на этот раз с правого борта, а та, что находилась с левого, становится все шире и шире. Таким образом, Эльвире грозила опасность быть сдавленной двумя, приближавшимися друг к другу, пластами льда. Казалось, что нет возможности избежать гибели. Давление ощутилось сперва в носовой части корабля, которая была приподнята толчками и потом сразу опустилась, разбив несколько пустых ящиков, валявшихся на льду. В это время в канале, расширившемся теперь до четырех или пяти метров, появились льдины, оторвавшиеся, вероятно, от общей массы льда. Они надвигались одна на другую и обрушивались с ужасным треском на ледяное поле. Некоторые из них продвинулись почти до самого корабля, и одна разбила даже часть борта. Грохот был невообразимый, а в темноте не было никакой возможности угадать, с какой стороны грозит наибольшая опасность.

Каждую минуту мы ждали, что корабль будет раздавлен, но, очевидно, что час «Эльвиры» еще не пришел. Лед приподнимал то нос, то корму, колебал судно то с одного бока, то с другого, и был момент, когда оно оказалось точно висящим в воздухе на высоте двух или трех метров над ледяным полем. Но в конце концов нагромоздившиеся под кормой льдины, вследствие собственной тяжести, обрушились с невероятным грохотом, и лишенное опоры судно сразу же село кормой. Зловещий треск и шум ломавшегося железа заставили тревожно забиться наши сердца. Со страхом глядели мы друг на друга. Очевидно, произошли повреждения. Но что попорчено? Руль? Или, может быть, винт? Или то и другое вместе? Из нашего лагеря, метрах в двадцати от корабля, мы ничего не могли различить, а приблизиться было опасно, так как там все время обрушивались ледяные глыбы и даже в том месте, где мы находились, чувствовалось, как лед колеблется, точно приподнимаемый изнутри волнами.

К утру грохот немного утих, но через час опять возобновился с еще большей силой. Мы слышали, как наш несчастный корабль трещит и стонет, и в темноте казалось, что его нос и корма попеременно поднимаются и опускаются, как при килевой качке во время сильного волнения.

К полудню, наконец, наступило спокойствие, и мы с большими предосторожностями взобрались на «Эльвиру», которая сильно накренилась, так что мы могли влезть на палубу прямо со льда.

Первым делом Торнквист и Кульмгрен отправились осмотреть корму, повисшую на высоте пяти метров надо льдом, или, вернее говоря, над широкой полыньей, которая, впрочем, к вечеру покрылась слоем льда.

Зрелище было неутешительное. Руль был оторван от кормы и от него ничего не осталось. Как раз над уровнем воды виднелась громадная пробоина. Винт был весь исковеркан и поломан и ни на что больше не годился. Его ось была

искривлена и, под давлением льда, совершенно разворотила железную обшивку у выходного отверстия; к счастью еще, что дерево уцелело.

1 ноября.

В продолжение целого дня, ни на минуту не прекращая работы, матросы заделывали досками и запасными железными листами зияющую пробоину в борту корабля. Тщательный осмотр винта показал, что нечего было и думать об его исправлении наличными средствами. Что касается руля, то весьма сомнительно — удастся ли смастерить новый. Еще без винта, пожалуй, можно было бы обойтись, но без руля невозможно пуститься в плавание.

Осмотрев все разрушения, Торнквист не мог удержаться, чтобы снова не осыпать упреками несчастного Кельмгрена. С блуждающими, как у безумца, глазами, Кульмгрен ничего не ответил и вышел на палубу, после чего не показывался в течение всего вечера.



2 ноября.

Сегодня утром Кульмгрен не появлялся, и его спальный мешок, в котором он спит даже в каюте, остался свернутым.

Торнквист, обеспокоенный его исчезновением, хотел сейчас же отправиться на его поиски. Его мучила совесть, что он слишком сильно разбил бедного машиниста, у которого и без того был совершенно подавленный вид.

Но погода была отвратительной, дул сильнейший западный ветер, и предположение это было совершенно неисполнимо. Очевидно, Кульмгрен погиб где-нибудь на льду после продолжительных скитаний в темноте. Никто, однако, не видел, чтобы он вчера вечером покинул корабль. Но не подлежит сомнению, что в припадке отчаяния, после упреков Торнквиста и особенно после ругани матросов, несчастный потерял голову и пошел куда глаза глядят. Все ружья оказались налицо, и лыжи Кульмгрена находились на своем месте; значит, он не воспользовался ни тем, ни другим, а без лыж и оружия мог ли он уцелеть во льдах, среди полярной ночи?

Торнквист винит себя в смерти несчастного машиниста, так как, подобно мне, он так же убежден, что Кульмгрен больше не вернется. Поэтому-то, не взирая на погоду, он и хотел тотчас же итти его отыскивать и вызвал двух охотников. Но люди наотрез отказались и с усмешкой заявили, что это было бы совершенно напрасно, так как Кульмгрен, наверно, уже давным давно замерз. Такое рассуждение было, конечно, бесчеловечно, но его нельзя было не признать вполне логичным. Торнквист понял это и, разбранив матросов за их эгоизм, вынужден был отказаться от своего намерения, по крайней мере, на сегодняшний день, ибо он твердо решил отправиться на поиски один, как только погода немного поправится.

3 ноября.

О Кульмгрене ничего не слышно; он, очевидно, нашел смерть, которую искал. Торнквист страшно угнетен и все время молчит. Что же касается матросов, то они, кажется, стыдятся своего поведения и искренне жалеют машиниста. Андерсен сегодня утром внезапно предложил Торнквисту сопровождать его, когда он пойдет на поиски исчезнувшего.

Сегодня утром Ольсен заметил, что в кормовой части трюма стоит вода примерно на полфута. По всей вероятности, имеется пробоина в подводной части судна, образовавшаяся от напора льда. Несколько человек сейчас же стали выкачивать воду вручную, и после тяжелой работы в продолжение четырех часов уровень воды значительно понизился. Значит, пробоина не большая. Но не было возможности обнаружить и заделать ее, что внушает большие опасения. Кроме того, возникает вопрос — одна ли это только пробоина и какие еще сюрпризы обнаружатся в тот день, когда «Эльвира» очутится в открытом море если только, вообще, этот день когда-нибудь наступит...

Чем более я об этом думаю, тем более положение кажется мне серьезным, если только не совершенно безвыходным. Нечего делать себе иллюзий, и надо смотреть опасности прямо в лицо!

Корабль, лишенный винта и руля, крайне ограниченное количество съестных припасов и, вместе с тем, постоянная угроза быть раздавленными льдами — таковы факты. Оставить же корабль, расположиться на льду и довериться дрейфу — этим могут обольщаться только дети. Мы не выдержим и двух недель. Но к чему мучить себя сомнениями? Нужно терпеливо переносить страдания и заставлять себя надеяться вопреки всякой очевидности. Однако уныние овладело всеми нашими людьми. Покорившись судьбе, угрюмые и молчаливые, они живут изо дня в день в состоянии полнейшей апатии. Даже сам Торнквист начинает, видимо, утрачивать

энергию и целыми часами сидит, не говоря ни слова, с устремленным вдаль взглядом.

4 ноября.

Так как ветер прекратился, то Торнквист и Андерсен отправились сегодня утром на поиски Кульмгрена, как мне кажется, только для очистки совести. И, действительно, как найти этого беднягу в темноте, двигаясь, так сказать, ощупью? Вернулись они только в шесть часов и рассказали, что чуть сами не заблудились в тумане. Как и можно было предвидеть, они не нашли никаких следов исчезнувшего. Выпавший в изобилии снег, конечно, давно уже их уничтожил.

5 ноября.

Торнквист, из-за вчерашней экскурсии, лежал сегодня целый день. Он чувствует себя переутомленным и жалуется на сердцебиение и на боль в суставах. Опять боюсь, чтобы это не была цынга.

6 ноября.

После обеда Торнквист, который едва передвигается, сделал в присутствии двух матросов опись вещам, оставшимся после умершего, ибо теперь уже без сомнения можно считать, что Кульмгрен умер. Матросы разделили между собой его одежду и с грубыми шутками стали тянуть жребий, кому достанутся сапоги. Получил их Иоргенс. — Смотри, они принесут тебе несчастье! — сказал ему Гейнрихсен, раздосадованный, что сапоги достались не ему.

Кое-какие бумаги, фотография мальчика — должно быть, его сына — и серебряная медаль были завернуты в отдельный пакет и спрятаны, „чтобы передать родным, когда мы вернемся"... как сказал Торнквист, горько улыбаясь.

7 ноября.

Вечером у Торнквиста был продолжительный обморок. Он почти ничего не ест. Малейшее прикосновение к деснам вызывает болезненные ощущения, и он ничего не может жевать, а бульон, который ему prepares Ольсен, вызывает в нем отвращение. Вместе с тем, он категорически запретил мне открыть для него одну из оставшихся у нас банок со сгущенным молоком. Но я не буду обращать внимания на это запрещение.

10 ноября.

Сильно ослабевший Торнквист должен был вынести нападки Иоргенса, который в грубых выражениях обвинял его в смерти Кульмгрена, а между тем,

сам же этот Иоргенс больше всех кричал и ругал несчастного машиниста. Впрочем, сейчас же вмешались остальные и уgomонили Иоргенса. Тем не менее, эта сцена произвела на Торнквиста угнетающее впечатление, и вечером у него опять было два продолжительных обморока. Позже Иоргенсу стало стыдно своего поступка и он просил прощения у командира.

— Бывают минуты, когда я чувствую, что схожу с ума... — сказал он мне.
Что же, я понимаю его!

11 ноября.

Ночь сегодня казалась особенно темной и не проницаемой. Вероятно, из-за тумана, который проникает через все щели и обдает нас леденящим дыханием.

12 ноября.

Торнквисту немного лучше... Он встал и хотел спуститься с корабля, чтобы посмотреть, в каком состоянии лед.

Вот уже скоро месяц, как круглые сутки царит ночь и дни тянутся бесконечно долго и уныло. Скученные в общей каюте, единственном месте, где можно оставаться, не закутываясь в меха или в одеяла, мы сидим, молчаливые и угрюмые. Даже во время обеда, когда прежде шли такие оживленные разговоры, теперь все сидят, не говоря ни слова. Предаваясь невеселым мыслям и машинально глядя на огонек печки, мы проводим целые часы в полумраке, погруженные в какую-то дремоту. И когда, очнувшись, вспоминаем, где находимся, то какая-то злоба и ненависть загораются в наших глазах. Жить так, неразлучно, в продолжение долгих дней, видеть на том же месте все те же лица, — это положительно невыносимое мучение. Бывают минуты, когда я готова вскочить и уйти, как этот бедняга Кульмгрен, куда-нибудь далеко, в темноту, навстречу смерти, чтобы только не видеть собрание этих призраков.

Нас здесь около десятка, но до чего каждый чувствует себя одиноким, чуждым другому. Во сто крат лучше быть действительно одному, чем находиться в этом коллективном одиночестве!

Не надо быть врачом, чтобы понять, что в такой обстановке нервы напрягаются до крайности. Все мы более или менее ненормальны, все серьезно больны. Более простые натуры, как, например, Андерсен и Шранк, страдают меньше других. Правда, они, как и остальные, почти ничего не говорят, но только потому, что им вообще нечего сказать. Впрочем, это молчание не тяготит их, и они, подобно суркам, готовы все время спать с открытыми глазами. Был бы наполнен желудок, а до остального им дела нет. Но те из нас, которые не так близки к природе, далеко не обладают таким равнодушием жвачных животных. Особенно расстроены нервы у Иоргенса; иногда с ним случаются припадки беспричинного гнева. Достаточно малейшего пустяка,

какой-нибудь шутки, чтобы начались споры между гарпунерами, матросами и поваром. И те и другие кричат, беснуются и бросают друг другу в лицо самые невероятные обвинения. Иногда ссоры переходят в драку и тогда изливаются целые потоки самых отвратительных ругательств, как будто люди хотят вознаградить себя за долгие часы молчания. А потом возбуждение проходит, ругательства утихают, и снова наступает тяжелое, давящее молчание. Какая ужасная, невыносимая жизнь.

14 ноября.

Вот уже два дня, как дует сильнейший ветер; он унес целую кучу дров, нарубленных из переборок носовой части, которые матросы с их обычной беспечностью оставили на палубе. А, ведь, нам приходится беречь каждое полено! Мы их кладем в печь не иначе, как обмакнув предварительно в тюлений жир, чтобы они не так скоро горели. Когда Торнквист сделал выговор матросам, они только усмехнулись и пожали плечами. Впрочем, уже давно нет и помину о какой-либо дисциплине, да и командир, как будто, на все махнул рукой.

16 ноября.

У меня озноб, болит горло... Впрочем, это вполне понятно, так как вчера я покинула сравнительно теплое общее помещение и ушла в свою прежнюю каюту, где вся стена покрыта инеем, а в углах выросли целые сталактиты из льда. Отчего я это сделала? Из-за сущих пустяков, только потому, что Торнквист затрещал пальцами, по своей отвратительной привычке, судорожно вытягивая и сгибая их. Раньше я не обращала на это внимания, но теперь это выводит меня из себя. Я готова была бы взять топор, чтобы прекратить это издевательство... именно издевательство, так как я уверена, что Торнквист делает это нарочно, чтобы извести меня. Мое раздражение приносит ему облегчение. О, подлый, подлый человек.

20 ноября.

Мои нервы немного успокоились. Но самое ужасное, что нет сил бороться с этой болезнью. Иногда в голову нам приходят прямо преступные мысли. И мне кажется, что если мы когда-нибудь перережем друг друга, то винить нас в этом будет нельзя. Мы сделаем это в состоянии полной невменяемости.

Вот уже четыре дня, как я не дотрагиваюсь до моего дневника. Да и о чем мне писать. Повторять прежние жалобы? Или говорить о неисполнимых надеждах? Но у кого же они есть? Все мы знаем, что обречены на гибель, не лучше ли, в таком случае... Нет, нет. Бросаю мой дневник... чувствую, что ум мой

мутится... Нужно взять себя в руки. Слава богу, что я еще замечаю это... Но до каких пор это продлится.

От 21 до 30 ноября.

Ничего нового. На днях, не помню уже, в какой день, не то 26, не то 27-го, было северное сияние. Еще в прошлом году я подолгу любовалась им, теперь же вышла посмотреть, чтобы только избавиться от общества своих сожителей и, вместе с тем, немного размять ноги. Должна сознаться, что зрелище это оставило меня совершенно равнодушной; остальные даже не вылезли из своего логовища. Все мы, более или менее, стали равнодушными ко всему. Впрочем, сияние длилось не долго, — самое большее три часа.

3 декабря.

Не хочу сегодня оставлять незаполненной страницу дневника: 3 декабря — день моего рождения. Мне двадцать семь лет. Для меня это событие, правда очень грустное. Целый день перебирала в памяти прошлое, такое милое, такое радостное...

Торнквист, здоровье которого немного улучшилось, и который может уже есть твердую пищу, поздравил меня сегодня утром:

— Чего вам пожелать, Ивонна? — спросил он меня, стараясь придать своим словам веселый тон. Чего пожелать? Окончания наших страданий, освобождения прежде всего! Но одно это слово заставляет меня горько улыбаться. Нет, уж лучше пожелать, чтобы наши страдания не длились слишком долго и из нашей зимней спячки мы незаметно перешли бы в вечный сон. Торнквист также хорошо это знает и не стал настаивать. Отвернувшись от меня, он с опущенной головой, тяжелыми шагами стал ходить взад и вперед. Выйти наружу невозможно. Ветер яростно воет, налетая бешеными порывами, и мы, как звери в клетке, заперты в нашей вонючей тюрьме.

7 декабря.

Вот уж три дня, как граммофон испорчен и на этот раз окончательно. Уже несколько недель, как он был не в порядке, хрипел, гнусавил, и звуки его походили скорей на какой-то скрип, чем на музыку. Но все-таки это был единственный наш спутник, напоминавший нам о родине, столь бесконечно далекой о нас...

Теперь и это окончилось, и мы больше не услышим его. Кульмгрена нет, и некому больше его поправить. В начале путешествия я с презрением относилась к этому инструменту и, как только его заводили, сейчас же убегала. Но матросы страшно любили граммофон, и помню, как в сочельник 1912 года они хором подпевали, когда он выкрикивал их любимые песни... Тогда я

осталась в кают-компании... Было устроено угощение — пунш и пирожные. Сухари не считались тогда еще лакомством, и мы еще были цивилизованными людьми...

С тех пор я почему-то полюбила наш граммофон и особенно в эти последние месяцы я с наслаждением слушала эту примитивную музыку, приносящую на своих крыльях столько волнующих воспоминаний. Целыми часами я поддавалась своеобразному очарованию этих дребезжавших звуков, говоривших о прошедших днях, вызывавших в памяти картины, на которые время набросило прозрачное покрывало неясной и сладкой меланхолии... А теперь исчезло и это последнее утешение.

8 и 9 декабря.

Ничего нового. Темнота — одна темнота.

10 декабря.

Торнквист регулярно производит осмотр склада продуктов, как мы, не без иронии, называем бывшую каюту Кульмгрена, расположенную в непосредственной близости от занимаемого нами помещения. Ключ находится или у командира или у гарпунера Гейнрихсена — нашего „заведывающего складом“.

И вот уж несколько дней, как он стал замечать исчезновение сухарей из нашего и без того уже скудного запаса. Так, например, вчера опять не хватило кило. Это количество может показаться ничтожным, но для нас, рассчитывающих каждую крошку, оно является очень большим. Кило для каждого из нас — это хлеб в течение почти двух недель или, иначе, две недели жизни.

Гейнрихсен, грубоватый и неотесанный парень, но безукоризненно честный и весьма добросовестный, клянется всеми святыми, что он не брал ни крошки.

— Это было бы хуже воровства, это было бы предательство по отношению к товарищам, — воскликнул он с негодованием, когда Торнквист стал его спрашивать

Ответ этот, конечно, показал, насколько он сам считает возмутительным подобный поступок.

— Уж если я кого поймаю, не поздоровится ему! — добавил он, потрясая своим огромным кулаком, поросшим рыжими волосами. — Уж он никогда больше не будет есть сухарей, в этом я вам ручаюсь!

Но, как бы то ни было, а запас сухарей все уменьшается и уменьшается и через месяц или, самое большее, через шесть недель, у нас не останется ни крошки. Придется тогда питаться исключительно медвежьим или моржовым мясом, тюленьим жиром и остатками консервов из мяса и овощей,

сбереженных на черный день. К счастью, у нас еще имеется много чая. О сахаре же мы давно забыли и думать и так привыкли пить чай без сахара, что даже не замечаем этого.

11 декабря.

С некоторого времени состояние здоровья нашего второго гарпунера Иоргенса внушает серьезные опасения. Не то, чтобы он был физически не здоров, — наоборот — он чувствует себя превосходно и сильнее нас всех, причем до сих пор ни разу не болел цингой. Сам он человек совершенно некультурный, не умеющий ни читать, ни писать, скрытный, молчаливый. Товарищи никогда с ним не дружили и прозвали его „китайцем“, вероятно, потому, что у него немного монгольский тип — выдающиеся скулы, желтоватый цвет лица и жесткие черные волосы. Иногда они зовут его также „каторжник“, неизвестно, — почему. Как гарпунер, он обладает удивительной ловкостью. Но уж давно ему не приходится применять своего таланта и он обыкновенно молча сидит в углу, ничего не делая.

12 декабря.

Но сначала этой зимы этот спокойный человек стал совершенно неузнаваем. Сидя в своем углу, он ведет бесконечные речи, лишённые всякого смысла. Иногда же внезапно вскакивает и начинает бегать взад и вперед, с блуждающими глазами и стиснутыми кулаками, при чем все время неистово ругается. После такого припадка наступает обыкновенно полнейший упадок сил, за которым следует глубокий сон, длящийся несколько часов. Затем на неделю или две он становится совершенно нормальным и целые дни вырезывает из дерева какие-то фигурки, которые потом прячет в свой сундук.

До сих пор никто не обращал внимания на эти фокусы, как называли матросы припадки Иоргенса; вреда он никому не делал и поэтому все его выкрики и размахивания руками не производили никакого впечатления.

Но на днях, во время одного из таких припадков, он схватил нож и с пеной у рта грозил зарезать тех, „кто заставляет его сидеть в темноте и обвиняет в смерти Анны“.

Очевидно, что это признаки сумасшествия. Он как будто не видел никого из окружающих, и его угрозы, несомненно, относились не к ним. Интересно, что несколько раз он со злобой в голосе произнес имя Томсена, одного из матросов, ушедших весной, — единственного человека, с которым он немного дружил.

Торнквист попытался успокоить несчастного, но тот чуть не убил его. Тогда я подошла к нему, ласково заговорила с ним и постаралась вернуть его к действительности. Он пристально поглядел на меня, пробормотал несколько бессвязных слов и выбежал на палубу, где долго еще продолжал бесноваться.

17 декабря.

Никогда не забуду день тринадцатого декабря и никогда не перестану упрекать себя, хотя совесть моя и чиста. Может быть, впрочем, мне надо было проявить больше характера. Но все были в невменяемом состоянии, и драма совершилась.

В ночь на субботу Торнквист, терзаемый мрачными мыслями, дремал с полуоткрытыми глазами. Впрочем, мы все не можем спать, как следует, и проводим ночь в каком-то тревожном состоянии, прерываемом сновидениями или, вернее, кошмарами, причиной которых является, вероятно, ужасный воздух в нашем помещении, где, несмотря на поставленные всюду у стен пустые банки от консервов, постоянно сочится вода, заливая пол и превращая каюту в настоящую клоаку.

И вот, среди ночи, Торнквист внезапно очнулся от полудремоты, разбуженный каким-то заглушенным шумом, исходившим, как будто, из нашего „склада продовольствия“. Сначала он не обратил на это внимания, но так как шум не прекращался, он стал прислушиваться, и ему показалось, что щелкнул ключ в замке. У него сейчас же мелькнула мысль о краже сухарей, и он моментально вскочил с койки, чтобы накрыть злоумышленника на месте преступления. Когда он был уже в проходе, он внезапно наткнулся на какую-то фигуру, схватил ее и закричал дрожащим от негодования голосом:

— Ну, теперь уж ты попался, мерзавец!

Между тем, пойманный молча старался вырваться из рук Торнквиста, причем пытался достать нож, висевший у него на поясе, с которым наши матросы никогда не расстаются. Торнквист заметил это и стал звать на помощь, что, впрочем, было совершенно излишним, так как его крик и шум борьбы разбудили матросов. В мгновение ока все вскочили с коек. Двое людей сейчас же бросились на помощь к Торнквисту и с громкими криками и руганью притащили вора в каюту, где он упал на землю, закрыв лицо руками, как пойманный в шалости мальчишка. Руки тотчас же отняли от лица, и все тогда увидели перед собой бледного, как смерть, Шранка, у которого от страха зуб не попадал на зуб. Оказывается, вором был он.

Торнквист должен был употребить нечеловеческие усилия, чтобы помешать пришедшим в ярость матросам тут же прикончить несчастного кочегара. Особенно неистовствовал заподозренный в свое время Гейнрихсен. Накинувшись на Шранка, он нанес ему сокрушительный удар своим могучим кулаком. Губы у несчастного тотчас же вспухли, и он стал выплевывать кровь вместе с зубами, так как у него давно цынга в довольно сильной степени.

Мы с Торнквистом поспешили вмешаться, получили несколько ударов в общей свалке, но в конце концов освободили Шранка, который после этого был

крепко связан и брошен в угол, где и остался лежать, оглашая воздух стонами и рыданиями. Матросы же окончательно успокоились лишь тогда, когда Торнквист торжественно обещал им устроить форменный суд, с тем, чтобы решение вынесли они сами. Когда Шранк услышал эти слова, он понял, что его участь решена. Впрочем, его виновность была очевидной. В проходе, где он боролся с Торнквистом, найдены были кусочки сухарей, брошенные похитителем, когда его поймали. Было их там немного, не больше четверти фунта. Но мы получаем так мало — полкило на десять дней — что это количество показалось огромным, и поступок Шранка заслуживающим самой суровой кары. „Этот предатель заслуживает смерти!“ не переставал повторять Гейнрихсен, вне себя от гнева.

Допрошенный на следующее утро Шранк отказался отвечать и все время молчал с мрачным видом. Да и что мог бы он сказать в свое оправдание?

18 декабря.

У меня не хватило силы вчера закончить мой рассказ. То, что произошло, останется навсегда в моей памяти, как ужасный кошмар. Но в чем я могу себя упрекнуть? Смерть этого человека, слава богу, не лежит у меня на совести.

Связанного, как тюк, Шранка оставили лежать несколько часов в углу. Торнквист уже надеялся, что матросы успокоились и злоба их утихла, как вдруг, после обеда Гейнрихсен грубо напомнил ему о его обещании.

— Мы не желаем иметь среди нас этого предателя, — воскликнул он и, обратившись к остальным, добавил: — надеюсь, что все согласны со мной. Он заслуживает смерти.

Все подтвердили это мнение. Видя, что несчастья не избежать, Торнквист указал на Андерсена и Ольсена и предложил им быть судьями, так как считал их более доступными жалости, чем остальных.

— Нет, нет, не хотим Андерсена, — закричали матросы. — Пусть будет Гейнрихсен, его напрасно заподозрили, пусть он и будет судьей!

Командиру пришлось подчиниться. Шранка, имевшего вид затравленного зверя, посадили связанным на табуретку, и „суд“, под председательством Торнквиста, приступил к исполнению своих обязанностей. Остальные, которых хотели удалить, отказались выйти из каюты.

Спрошенный Шранк не раскрыл рта. Его глаза, из которых один был подбит и вспух, перебегали от одного судьи к другому, вымаливая пощаду. Вид его внушал невероятную жалость: лицо его было покрыто запекшейся кровью, он весь дрожал от ужаса, капли холодного пота выступали на лбу.

Я не в силах была вынести это зрелище и выбежала на палубу, где разразилась рыданиями. Не прошло и четверти часа, как дверь из каюты отворилась и на верху трапа показался подталкиваемый сзади связанный

Шранк. Плечи его вздрагивали от рыданий, глаза выражали смертельный ужас. Увидя меня, он сделал нечеловеческое усилие и после короткой отчаянной борьбы ему удалось освободиться из рук державших его палачей. Он упал перед мной на пол и стал целовать мои ноги, выкрикивая нечеловеческим голосом:

— Спасите меня! Заступитесь за меня! Умоляю вас, Христа ради, не дайте меня убить, спасите меня!

Внутри меня точно все перевернулось, — у несчастного была уже накинута на шею веревка.

— Не стоит тратить на него заряда,—объявил неумолимый Гейнрихсен. — Нужно беречь патроны.

Какие только слова я ни употребляла, как только ни умоляла помиловать несчастного! Все это представляется мне, как в тумане, но, вероятно, я была очень красноречива. Был момент, когда матросы как будто заколебались, и мне даже показалось, что в глазах Иоргенса блеснула слеза.

— Послушайте, — сказала я Гейнрихсеиу, — ведь, ему осталось жить всего несколько недель. У него цынга, он не долго проживет. Зачем же брать себе на душу его смерть,



Шранк обнимал мои колени и глядел на Гейнрихсена с немим ужасом.

— Послушай ее... не убивай меня, — умолял он, давясь от рыданий.

— Так, выходит, что это убийство, — закричал Гейнрихсен. — Нет, не правда! Это только праведный суд. Уходите, Фрекен Ивонна, оставьте нам этого человека. Женщинам здесь не место...

И по его знаку два матроса потащили хрипевшего Шранка к мачте, где его должны были повесить на рее.

Обезумев от отчаяния, я бросилась вниз, в каюту, и упала в изнеможении на койку.

20 декабря.

У Иоргенса, который все эти дни оставался сравнительно спокойным, сегодня опять был буйный припадок. Ему казалось, что его кто-то преследует, и он, упав на колени, полным ужаса голосом просил прощения.

— Я не виноват, Анна, — говорил он жалобным тоном: — Ни в чем не виноват. Это Фридрих тебя убил. У него и спрашивай серебряную цепочку... Она у него осталась... — После чего, закрыв лицо руками, стал плакать горькими слезами.

Внезапно он испустил дикий крик, бросился вперед и стал биться головой о стену. Из лба его хлынула кровь и залила все лицо. Он стал обтирать ее руками, после чего взглянул на них.

— Кровь... кровь... — пробормотал он слабым голосом, глядя перед собой безумными глазами. Потом снова хотел начать биться головой о стену. Но в этот момент его схватили, положили на койку, и Андерсен крепко перевязал его веревкой. Иоргенс, еще оглушенный от ударов, не сопротивлялся и даже не заметил, как я наложила ему перевязку. После этого он долго стонал, не останавливаясь ни на минуту, подобно раненому зверю; по временам же из груди его вырывалось хрипение, от которого мороз подирал по коже; даже матросы, относившиеся ко всему с полным безразличием, со страхом глядели на него.

Так прошла вся ночь. Я хотела дать ему немного горячего чаю, но он стиснул зубы, отвернул голову и ни за что не хотел выпить ни глотка. Иногда он вдруг приподнимался и с яростью старался высвободиться от веревок, которыми, к счастью, был крепко привязан.

21 декабря.

Простонав так всю ночь, к утру Иоргенс как будто заснул. Но через некоторое время он вдруг захрипел, судорога потрясла его тело, голова упала на койку, после чего он остался лежать неподвижно, как и раньше, связанный веревками. Когда мы подошли, то увидели, что он умер. Не подлежит сомнению, что вчерашние удары головой вызвали кровоизлияние в мозг, которое и вызвало смерть.

22 декабря.

Тело Иоргенса сегодня утром перенесли на лед, с тем, чтобы опустить его в воду, для чего к ногам привязали груз свинца. Таким способом похоронили Шранка десять дней тому назад. Но оказалась, что та полынья, куда они опустили тело несчастного кочегара, затянулась льдом; тогда они просто положили тело Иоргенса на лед, при чем, несмотря на свое истощение, прикрыли его глыбами льда, затратив на это громадные усилия.

23 декабря.

Приближается рождество. Но никто о нем не вспоминает, как будто умышленно избегая касаться этого вопроса. В этом году нечего и думать праздновать этот день, хотя бы распределив сгущенное молоко и шоколад, как это было и 1913 году.

31 декабря.

Я хотела, как делала это в 1912 и 1913 году, припомнить важнейшие события истекшего 1914 года и занести их в мой дневник. Но у меня положительно не хватило на это сил. Этот год был для нас особенно несчастным, и после ухода Бострема у нас были только горе и неудачи.

3 января (1915 года).

Вот уже несколько дней, как ледяное поле вокруг нас как-то особенно беспокойно. Неужели нам опять придется испытать такое же давление, как это было в сентябре? В таком случае, нам придется только ждать дальнейших событий, так как о том, чтобы покинуть корабль и устроить становище на льду, нечего и думать. Мы слишком слабы для этого и у нас едва хватит силы, чтобы выбраться на палубу. К тому же, нами овладело такое безразличие, что, если бы корпус корабля был проломлен льдом и вода стала бы заливать каюту, мы не двинулись бы с места, чтобы попытаться спастись. Смерть для нас была бы только освобождением от страданий.

6 января.

Ледяное поле успокоилось, но дует сильнейший ветер, наносящий сухой снег, который проникает во все щели. Сегодня в нашей каюте было только два градуса, и мы забились в наши спальные мешки. На беду, еще труба совсем испортилась или, может быть, ветер гонит дым обратно,

9 января.

Воздух в каюте такой, что прямо невозможно дышать. Еще сегодня мы страдали от дыма, который два дня тому назад заполнил каюту. Особенно плохо Торнквисту: у него от дыма сделался сухой кашель, заставляющий его быстро терять силы.

Сегодня утром Гейнрихсен устроил на трубе приспособление, мешающее ветру загонять обратно дым. Печка больше не дымит, хотя, правда, ветер прекратился. Вечером открыли банку с молоком. Осталось только две.

10 января.

Ночью опять беспрерывно слышался треск и какой-то особый своеобразный шум, который матросы называют голосом льда. Невозможно было заснуть. Этот шум наводит невероятную тоску и удивительно похож на жалобные стоны, вызывающие дрожь в теле. Начинается это обыкновенно сильнейшим грохотом. Потом довольно долгое время слышится глухой гул, который то приближается, то удаляется, как раскаты грома. По временам раздаются точно сильнейшие взрывы. Невольно сжимается сердце, и дыхание спирается в груди. Затем наступает абсолютная тишина и кажется, что весь мир объят смертью, и ночь стала чернее и кругом одна пустота.

С чем сравнить все эти звуки? Матросы, верно, называют их „голосами“.

— Проклятые души, оставшиеся без погребения, бродят по льду, — говорят они.

Я не суеверна, но и мною овладевает невольный ужас, когда начинается этот дьявольский концерт и кажется, что вот-вот откроется дверь и вместе с порывом ледящего ветра ворвутся блуждающие призраки, которые там, среди бури и налетающих шквалов, жалобно стонали и зывали о помощи надрывающим душу голосом...

И — странное дело — эта зловещая симфония, эта фарандола, которую ведет отвратительное привидение белой смерти, прерывается иногда каким-то ужаснейшим скрипом, похожим на раскаты заглушенного смеха. И кажется, будто замогильный сатанинский голос взывает среди окружающей пустыни:

„Вы мои, вы принадлежите мне! Я держу вас в своих объятиях и больше не выпущу вас! Скоро и вы примете участие в моем хороводе!“ Затем смех прекращается и все затихает...

И, когда окончательно устанавливается тишина и умолкают таинственные голоса, я начинаю смеяться над моими страхами и называю себя ребенком. Но, что бы я ни говорила себе, эта похоронная музыка долго еще звучит в моих ушах.

11 января.

— Фрекен Ивонна! Идите скорей! Кажется, наш командир умер... — крикнул мне сегодня утром Ольсен дрожавшим от волнения голосом. С бьющимся от страха сердцем я бросилась к койке Торнквиста.

Неужели он умер один и никого не было при нем в эту минуту? В течение последних двух-трех дней я почти не отходила от него и видела, что мое присутствие приносит ему облегчение; ему приятно было чувствовать мою руку в своей руке, ощущать мою близость... И надо же случиться такому несчастью, что как раз теперь я отошла от него и не могла принять его последний вздох!

Торнквист лежал на своей койке совершенно неподвижно, с откинутой назад головой... Я не могла овладеть собой и разразилась громкими рыданиями, не стесняясь присутствием Ольсена, который весь дрожал и все время повторял: „Конечно, конечно... бедный командир, наконец-то ты нашел успокоение..."

Но вскоре врач взял верх над слабой женщиной. Приложив ухо к груди Торнквиста, я увидела, что сердце еще бьется, хотя очень слабо и неравномерно. Значит, это был один из тех продолжительных обмороков, которые случались с ним в этом году. Благодаря принятым мерам, больной через час пришел в себя. Мне удалось заставить его проглотить несколько глотков молока. Но он остался в полубессознательном состоянии и вряд ли выйдет из него до конца, который, несомненно, теперь очень близок.

13 января.

Мы с Ольсеном по очереди всю ночь дежурили при больном. Андерсен лежит неподвижно на койке и ничем не интересуется. Когда Ольсен сказал ему, что командир скоро умрет, он только пожал плечами и спокойно ответил:

— Да и все мы скоро умрем... — после чего повернулся к стене и замолчал.

К счастью, Торнквист, кажется, не страдает. Его мысли далеко отсюда. Он, видно, забыл обо всех злоключениях этих последних месяцев... а также и об Ивонне... По крайней мере, ни разу он не произнес моего имени... Что ж, может быть, это и к лучшему! Зато он несколько раз вспоминал свою мать, и радостная улыбка озаряла его похудевшее лицо.

15 января.

Конца можно ожидать с минуты на минуту. Потихоньку, машинальным движением больной все время натягивает на себя одеяло. Ольсен, не спускающий глаз с командира, объясняет это тем, что ему холодно, и с трогательным усердием подбавляет в печку дров, которых у нас и так немного.

16 января.

Торнквист умер сегодня утром... и нас осталось только четверо. Впрочем, наша судьба предreshена, и через несколько недель или даже дней мы последуем за бедным командиром. Умер он тихо и спокойно, не отдавая себе в этом отчета.

Мы дошли до того, что смерть его не произвела на нас почти никакого впечатления, и мы не проронили ни одной слезинки. Наши силы убывают с каждым днем, и Андерсен с Гейнрихсеном, бывшие прежде настоящими богатырями, должны были теперь употребить величайшие усилия, чтобы перенести на "кладбище" ставшее совсем легким тело Торнквиста.

18 января.

Мы продолжаем влачить наше жалкое существование, В почти полной темноте, так как наши лампы с тюленьим жиром никто теперь не зажигает, мы бродим, как тени, не обмениваясь ни одним словом. Кушаем, как попало, утром каждый пьет чай, окуная в него кусочек сухаря, а в течение дня, когда захочется есть, идет в помещение для провизии и берет там, что захочет. Никто ни за чем не следит. Да и к чему это? Мы потеряли счет времени, и я не знаю, верно ли отмечаю числа в моем дневнике.

Бедняга Гейнрихсен долго не протянет; он ничего не может есть твердого и даже не в состоянии проглотить размоченный в чае сухарь. Вытянувшись на койке, с которой свисают его страшно похудевшие руки, он целыми днями лежит неподвижно, как труп, на который он все больше и больше становится похожим. Иногда от боли у него вырывается короткий стон, после чего он снова продолжает лежать неподвижно.

19 января.

Гейнрихсен умер, вероятно, в течение ночи. Обнаружил это Ольсен, когда принес ему утром чаю. Он также скончался без страданий. Если цынга — отвратительная болезнь, то, по крайней мере, ей нельзя отказать в милосердии.

Мы с Ольсеном попытались отнести тело на лед, так как то, что мы называем „кладбищем“, находится слишком далеко, хотя это всего лишь в пятидесяти метрах от носа корабля. Но и на это у нас не хватило сил и нам лишь с большим трудом удалось вытащить его на палубу. Завтра, может быть, мы спустим его на лед.

23 января.

Вчера вечером мы сбросили Гейнрихсена на лед у самого борта корабля, где он и остался лежать. Ольсен не может больше подняться с койки, — не знаю, что у него — ревматизм или паралич. Да и я по временам впадаю в какое-то забытие и, когда прихожу в себя, мне кажется, что я проснулась после долгого сна. Может быть, это обморок. Ольсен уверяет, что я спала, не просыпаясь,



двадцать четыре часа. — Я подумал, что вы умерли. Два раза я просил вас дать мне чаю, а вы мне даже не ответили, — сказал он мне с упреком в голосе. Бедный Ольсен!

24 января.

Ольсен продолжает лежать на койке с закрытыми глазами и заострившимся носом. Я попыталась сегодня навалить обломки льда на тело Гейнрихсена, который лежит, как мы его сбросили, с открытыми глазами. Но пришлось отказаться от этого намерения. Я до того ослабела, что с трудом добралась до каюты. Был момент, когда мне хотелось упасть на лед и здесь ожидать конца. Потом, сама не знаю как, я очутилась в каюте и упала в изнеможении на койку. Ольсен, которого я окликнула, ничего мне не ответил. Все вертится вокруг меня, и какое-то зеленое облако заволакивает мои глаза. Неужели это уже конец.

26 (или 27) января.

Я очнулась на моей койке после долгого сна или глубокого обморока. У меня совсем слабый пульс, и меня мучит сильнейшая жажда. Чайник, к счастью, под рукой, и, приложив носик ко рту, я, не отрываясь, выпила все, что в нем было. Ольсен в своем углу продолжает спать. Он мне не отвечает, и я оставлю его в покое. Как я устала... Боже, как я устала...

2 февраля.

Мне стыдно сознаться, но с тех пор, как я осталась одна и живу, как хочу, мне кажется, что какая-то тяжесть свалилась с моих плеч.

Полнейшее одиночество и абсолютная тишина несколько меня не тяготят и, что самое удивительное, ко мне вернулся аппетит и даже настроение стало чуть ли не оптимистическим. Какая это злая ирония, но вместе с тем — какое облегчение — иметь возможность двигаться по своему желанию, не отвечать на вопросы и, в особенности, не слышать этих постоянных пререканий по поводу малейшего пустяка.

Но, хотя я и кушаю с аппетитом, все же силы с каждым днем покидают меня. Ум мой совершенно ясен и, просматривая мой дневник, я вижу, что много в нем не записала. Например, когда умер Ольсен? Что случилось с Андерсеном? Ничего не могу припомнить. Все эти последние дни точно окутаны каким-то туманом... Но из этого тумана иногда выплывают образы пережитого: то это Янсен, растерзанный медведем, или последние минуты Торнквиста, или наше становище на льду... Буду стараться отгонять эти образы и не мучить себя напрасно воспоминаниями...

4 (или ...) февраля.

Полный упадок духа. Бессонница и кошмары. Аппетит пропал, и я с отвращением принимаю пищу. Зато все время меня мучает жажда. Ах, если бы хоть каплю молока!

6 февраля.

Ничего нового. Дремала. Кошмары и лихорадило.

8 февраля.

Правда ли, что я одна на корабле? Или у меня галлюцинации, как у Иоргенса. Сегодня днем, в четыре часа, я совершенно ясно видела Торнквиста. Он пришел и сел на край моей койки, как, бывало, любил делать это прежде. Упершись подбородком в руку, он долго смотрел на меня. Мы не обменялись ни одним словом. Потом я заснула и, когда проснулась, его уже не было.

10 февраля.

Я все более и более слабею, но сознание мое совершенно ясно. Сегодня, отправившись за провизией, которой почти совсем не осталось, я упала два раза. О, если бы я могла только увидеть солнце, выйти из этого ужасного мрака, мне кажется, я набралась бы мужества и без сожаления покинула бы жизнь. Но, все равно, придется умереть... Пройдет неделя, может быть, две, и затем конец... Но смерть не страшит меня, — для меня это будет освобождение...

11 февраля (или 12).

Затуманивается ли мое сознание, или я спала двадцать четыре часа, или была в обмороке. Ничего не знаю. Но, очнувшись с тяжелой головой и с дрожью в теле, я с ужасом увидела, что печка потухла. В каюте было 17 градусов мороза. Я собрала все силы, чтобы наколоть немного дров, и с величайшим трудом мне удалось разжечь огонь. Однако, чтобы достичь этого, пришлось истратить почти весь запас тюленьего жира. А когда ничего не останется, что тогда делать? Не все ли равно! Если бы я только могла заснуть, заснуть навсегда.

13 февраля.

Вероятно, я пролежала в нетопленной комнате больше, чем думала. Сегодня я обратила внимание, что палец на ноге у меня распух и на нем появились черные пятна. Должно быть, отморозила. Растерла его снегом, потом спиртом. Но все время чувствую сильнейшую боль. Не довольно ли и без этого было у меня горя.

Уже давно я приготовила небольшой кожаный мешок, подбитый грубым холстом и снабженный пробками, в котором прежде были динамитные шашки для взрыва льда. Я решила вложить в него мой дневник и отнести этот мешок куда-нибудь подальше, на лед. Но придется отказаться от этого намерения. Нечего и думать надеть лыжи. Даже, чтобы сойти на лед, рядом с кораблем, я должна делать большие усилия. Значит, дневник останется со мною, и мы вместе исчезнем, если только дрейф через два, три или четыре года не отнесет злополучную Эльвиру к открытому морю, или не выбросит ее куда-нибудь на берег.

Через четыре года... мои страдания давно уже будут окончены.

26 февраля.

Пишу 26-го немного наугад, так как вот уже три дня, как у меня не прекращается сильный жар и распухшая нога причиняет мне сильнейшие боли. Вероятно, это гангрена. Надо было с самого начала набраться храбрости и ампутировать палец. Но у меня не хватило бы на это сил.

(Немного позже, в тот же день).

Спала несколько минут... или, может быть, часов. Кошмары... Галлюцинации... Обворожительная музыка... Какие-то страшные лица... На залитой солнцем равнине Бострем предлагал мне чудные плоды и потом отнимал их... Я плакала, как ребенок; исхудавший Торнквист, безумный Иоргенс, Шранк с веревкой на шее и остальные погибшие кружатся в хороводе вокруг моей койки. Может быть, они пришли за мной. Но, ведь, я же не сплю. Я не хочу, не хочу...

(Еще позднее).

Едва пишу... в глазах туман... Нужно кончать дневник. Положу его в сумку и брошу на лед...

R. Gouzy

Le Nord est pire

Обложка Н. Ушина.

Перевод В. Розеншильд-Паулина

Иллюстрации Н. Дормидонтова

Издательство «ВОКРУГ СВЕТА»

Ленинград — 1928

Тираж 50.000 экз.

OCR Андрей Дуглас